

ЛИЦЕЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ ПУШКИНА И ИХ КНИГИ

М. А. Любавин

ЛИЦЕЙСКИЕ
УЧИТЕЛЯ
ПУШКИНА
И
ИХ КНИГИ

ЛИЦЕЙСКИЕ
УЧИТЕЛЯ ПУШКИНА
И
ИХ КНИГИ



Пушкинский кабинет ИРЛИ

М. А. Любавин

ЛИЦЕЙСКИЕ
УЧИТЕЛЯ
ПУШКИНА
И
ИХ КНИГИ

Санкт-Петербург
Издательство "Сударыня"
1997

ББК 84.Р1
Л 93

Редактор
М. В. Тоскина

ISBN 5-87499-021-6

© М. Любавин, 1997

© Издательство "Сударыня",
редподготовка, оригинал-макет,
1997

ПРЕДИСЛОВИЕ



Вечером 19 октября 1811 года, когда отгремел праздник торжественного открытия Императорского Царско-сельского Лицея и воспитанники разошлись по своим каморкам - нумерам, профессора собрались на заседание лицейской Конференции. В этом первом заседании Конференции, где председательствовал директор В. Ф. Малиновский, участвовали помимо него шесть человек: профессора Кошанский, де Будри и Гауеншильд и адъюнкт-профессора: Куницын, Кайданов и Карцов. Директор и шесть педагогов подписали протокол, констатировавший открытие нового учебного заведения империи.

Почти шесть лет спустя, 9 июня 1817 года, те же шесть человек - все они уже носили профессорское звание - и поступивший в 1816 году профессор военных наук Эльснер, под председательством нового директора Энгельгардта, собрались на очередное заседание Конференции, где констатировали окончание учебного курса юношами, которые в 1811 году мальчиками поступили в Лицей.

На плечи этих шести человек легла основная нагрузка по воспитанию и образованию двадцати девяти питомцев, вместе составивших первый выпуск Царскосельского Лицея. 12 - 13 лет было большинству лицеистов в 1811 году, 18 - 19 - в 1817-м. Трудно переоценить роль наставников в таком возрасте, особенно в условиях закрытого учебного заведения, где круг знакомств воспитанников заведомо ограничен в целях создания идеальных условий для образования и воспитания.

Что же представляли собой эти шесть человек, за шесть лет воспитавшие и образовавшие Пушкина и двадцать восемь его друзей и товарищей? К сожалению, даже самый дотошный исследователь не сможет дать на этот вопрос исчерпывающий ответ. Ни один из шести профессоров Пушкина не оставил мемуаров, не сохранилось почти ничего из их личных архивов, почти не дошли до нас конспекты их лекций. Правда, в письмах и мемуарах современников,

прежде всего воспитанников Лицея первого и последующих выпусков, часто встречаются имена профессоров Лицея, особенно Куницына. Но ни один из лицейских профессоров не был человеком большого света и жизнь их, как правило, не была богата внешними событиями. Поэтому мемуаристы обычно ограничиваются простым упоминанием фамилий, оставляя их как бы на заднем плане своего повествования. Сохранившиеся же личные дела профессоров содержат в основном сведения официального характера: присвоение чинов, движение по службе, награды и пожалования; не многое могут добавить и другие материалы лицейского архива. Исключение в этом плане представляет писательская и издательская деятельность пушкинских учителей. Она нашла свое отражение не только в самих книгах, но и в делах цензурного ведомства, в переписке с министрами просвещения и чинами министерства, с типографами и книгопродавцами. После знакомства с этими материалами, многие из которых написаны профессорами собственноручно, яснее и понятнее становятся скупые строчки мемуаров и писем современников. Немало сведений о книгах лицейских профессоров можно почерпнуть и из дел лицейского архива. Достаточно сказать, что личное дело профессора Кайданова более чем наполовину состоит из материалов, относящихся к его учебникам истории.

При обращении к книгам лицейских профессоров Пушкина предпочтение отдавалось книгам, которые создавались в 1811-1817 годах, то есть в лицейские годы Пушкина. Эти книги в определенной степени соответствуют лекциям, читавшимся Пушкину и его товарищам. При этом имелось в виду, что некоторые книги, как, например, "Право естественное" Куницына, были закончены и изданы уже после окончания Лицея первым выпуском, но писалась книга на основе лекций, читанных именно пушкинскому курсу. Прочие книги нами лишь частично упоминаются для характеристики научного и педагогического потенциалов пушкинских учителей. При рассмотрении книг лицейских профессоров основное внимание уделяется истории их создания, издания и распространения без детального анализа их содержания и взглядов автора.

"...нам целый мир чужбина, Отечество нам Царское Село", - писал Пушкин в лицейскую годовщину 1825 года. В это свое Отечество он возвращался многократно в мыслях и наяву. Менее чем за год до гибели он снова вспоминал: "Лицейские забавы, наши уроки... Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия".

"Кто хочет понять поэта, должен отправиться на его родину", - писал Гете. Книги лицейских профессоров Пушкина представляются значительным уголком его Родины.



УЧЕБНИКИ И УЧЕНИКИ ПРОФЕССОРА КАЙДАНОВА



В 1829 году в предисловии к “Хронике времен Карла IX” Мериме, соглашаясь променять исторические сочинения Фукидида на мемуары Аспазии или Периклова раба, если бы они были написаны, так обосновывал свой “неблагородный” вкус: “В истории я люблю только анекдоты, среди анекдотов же предпочитаю те, которые содержат, как мне представляется, подлинную картину нравов и характеров данной эпохи”. Не преуменьшая значения подлинных мемуаров и даже не заступаясь за историков, подумаем лишь о том, что и обычный учебник истории давно прошедших времен обязательно представляет “подлинную картину нравов и характеров данной эпохи”, не всегда той, о которой он повествует, но всегда той, в которую он написан.

Итак...

Подносной экземпляр, затянутый в темно-зеленый сафьян. Солидный том с золотым обрезом и с золотой же рамочкой на переплете раскрылся на странице посвящения:

ЕГО СЯТЕЛЬНОМУ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ТАЙНОМУ
СОВЕТНИКУ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
ЧЛЕНУ,
МИНИСТРУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ,
Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ КАМЕРГЕРУ,
*в учреждениях при воспитательном
обществе благородных девиц и при
училище ордена Св. Екатерины советах*
ЧЛЕНУ,
СЕНАТОРУ
и
*орденов Св. Александра Невского
и Св. Владимира 1-й степени большого креста*
КАВАЛЕРУ,
ГРАФУ
АЛЕКСЕЮ КИРИЛЛОВИЧУ
РАЗУМОВСКОМУ.

И далее в две строки, что, по понятиям того времени, "означало подчинение и вежливость", следовало обращение:

"Сиятельнейший граф

Милостивый Государь!

Единственное мое желание, всегда меня воодушевляющее, - быть, по мере сил и способностей своих, полезным отечеству - побудило меня издать сию книгу в пользу воспитанников Императорского Лицея. Я осмелился украсить ее знаменитым именем Вашего сиятельства, и счастливым себя почту, если сей опыт моих трудов удостоится благосклонного внимания высокого покровителя наук - Вашего Сиятельства".

Подпись выполнена литерами разных размеров, причем, естественно, крупный относится к высокому покровителю наук, а мелкий и мельчайший - к автору. Для каждого оттенка чувства и мысли типография нашла подобающий шрифт:

Есмь с глубочайшим высокопочтанием и совершенною преданностью

ВАШЕГО СЯТЕЛЬСТВА
МИЛОСТИВОГО ГОСУДАРЯ
покорнейший слуга
Иван Кайданов.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Итак, перед нами учебник истории, написанный профессором Царскосельского Лицея на основе лекций, читанных первому (пушкинскому) лицейскому курсу. Полное название книги - "Основания всеобщей политической истории. Часть первая. Древняя история". Цензурное разрешение от 12 августа 1813 года, а вышла книга уже в 1814 году. Что же до самого текста посвящения и обращения, то я привел его отнюдь не в силу его экстраординарности. Подобные обращения в стиле "героизма лести", как говорил позднее Гегель, вполне соответствовали нравам времени и нередко встречаются в русских книгах XVIII - начала XIX веков. Что делать, молодой лицейский преподаватель не мог держать себя с министром так, как это позволял себе дед его ученика адмирал и андреевский кавалер Петр Иванович Пущин, перед которым министру случалось рассыпаться в извинениях.

Как и большинство русских профессиональных преподавателей того времени, Иван Кузьмич Кайданов был родом "из духовного звания" и начал свое образование в 1794 году, когда двенадцати лет поступил в Киевскую духовную академию, по окончании которой в 1801 году был избран кандидатом для занятия учительского места в Переяславской семинарии¹. Однако "вследствие высочайшего указа" в 1803 году был зачислен в Санкт-Петербургский педагогический институт, который окончил в 1807 г. В 25 лет Иван Кайданов получил звание старшего учителя гимназии и чин IX класса. Но и на этом образование сына малороссийского дьячка не закончилось. Конференция Педагогического института избрала "отличнейшего" студента к отправке в чужие края. Около двух с половиной лет, как и его будущие коллеги Куницын и Карцов, провёл Кайданов в Германии, в основном в Геттингене. По возвращении в Россию весной 1811 года Кайданов выдержал экзамен и конференциями Академии наук и Педагогического института был удостоен звания адъюнкт-профессора с присвоением чина VIII класса. 17 августа 1811 года новоиспеченный потомственный дворянин (VIII класс в те времена давал право на потомственное дворянство) "определен был отправлять должность профессора" в открывавшемся Царскосельском Лицее. Таким образом, вопреки мнению некоторых мемуаристов, будет справедливо считать, что лицейские профессора, во всяком случае профессор истории, географии и статистики, получили весьма серьезное образование.

Кстати, вот что писал о первых лицейских профессорах Куницыне, Кошанском, Карцове и Кайданове П. В. Анненков, первый биограф Пушкина: "...Можно сказать без всякого преувеличения, что все эти лица должны были считаться передовыми

людьми эпохи на учебном поприще. Ни за ними, ни около них мы не видим в 1811 году ни одного русского имени, которое бы имело более прав на звание образцового преподавателя, чем эти, тогда еще молодые имена”¹.

Тридцать лет прослужит в Лицее молодой геттингенец, станет заслуженным профессором, членом-корреспондентом Императорской Академии наук и кавалером российских орденов. За двадцать пять лет выслужит он полную пенсию в 5000 рублей и уже на склоне лет, в 1841 году, будет уволен с пенсией 6000 рублей в год, а “в уважение к пользе, принесенной им отечественному просвещению изданием учебных книг”, будет еще награжден единовременным пособием 1500 рублей серебром.

А пока что молодой адъюнкт-профессор готовит к чтению лекции, знакомится с будущими учениками.

Подготовка у мальчиков самая различная. На вступительных экзаменах Александр Горчаков и Дмитрий Маслов получили “очень хорошо”, а Одося Илличевский - “весьма хорошо”. Столь разные Иван Пущин и Александр Тырков, Модя Корф и Антон Дельвиг - “хорошо”, нескладный Вильгельм Кюхельбекер и непоседливый Александр Пушкин, как выяснилось, по истории только “имеют сведения”, а Константин Гурьев и вовсе “ничего не знает”.

Пушкинское “имеет сведения”, по всей вероятности, означает не столько скудость его знаний, сколько их беспорядочность. В то время как он занимался со случайными гувернерами или читал переложения Плутарха и Гомера в библиотеке своего отца, большинство его будущих товарищей по Лицею получали уже систематическое образование в гимназиях, пансионах или с целым штатом домашних учителей. Сведения же из древней истории в те времена считались абсолютно необходимыми дворянскому недорослю, что и было зафиксировано в уставе Лицея, требовавшего от поступающих обязательного знакомства именно с древней историей.

Подготавливая свой курс истории в Лицее, Кайданов, естественно, предполагал, что его будущие слушатели хотя бы “имеют сведения”, на которые можно будет опереться при чтении лекций. Программа же “наук исторических” была намечена весьма обширная, хотя и не совсем конкретная: “В 1-й год: основание русской истории с изучением замечательнейших эпох ее по таблицам. Сокращенная всеобщая история, география, основание хронологии. Во 2-й и 3-й годы: продолжение тех же предметов”². На последующие годы намечались, помимо продолжения предыдущего, археология, нумизматика и статистика, а также “начало философского обозрения важнейших эпох всемирной истории”.

Как видим, для юношей, готовящихся “для важных частей службы государственной”, преподаванию “наставницы царей” - истории - уделялось немало внимания.

Вопрос об учебниках при организации Лицея стоял не столь остро, как о преподавателях и программах, по той простой причине, что учебников для высших учебных заведений в России тогда почти не было. Большинство университетских профессоров читало курс либо по собственным “тетрадам”, либо по книге какого-нибудь иностранного авторитета, преподававшего в далекой их молодости. Что же касается домашних учителей, то “французики из Бордо”, у которых получили первоначальное образование некоторые будущие лицеисты, и сами не всегда знали источники собственной “образованности”.

Из лицейских же профессоров в 1815 году Куницын преподавал “Нравственность по сочинению Якоба”, “Психологию по руководству Шульца”, а “Политическую экономию” по своим тетрадам, руководствуясь Адамом Смитом, “Право Естественное” также по своим тетрадам, руководствуясь новейшими сочинениями по сей части Канта, Шмальца, Гуфеланда и Клейна”; Карцов вел математику по книгам Фусса и Лоренца, “дополняя своими сочинениями”. И лишь Кайданов среди многих “руководств”, по которым он читал лекции, называет книгу “своего сочинения”⁴.

До начала лекций Кайданов должен был взяться за подготовку “тетрадей”, которые понемногу стали превращаться в учебники. Вышедшая в 1814 году “Древняя история”, как писал ее автор в обращении к читателям, была составлена из “лекций, читанных мною воспитанникам Императорского Лицея”, - то есть тех лекций, которые были прослушаны Пушкиным и его товарищами⁵. В этом же обращении Кайданов объяснял и причины, побудившие его написать книгу: “Между прочими причинами великих затруднений, встречаемых при изучении Истории, есть, без сомнения, недостаток хорошего исторического сочинения, могущего в сем случае быть руководством”⁶.

Основные материалы Царскосельского - Александровского Лицея в настоящее время хранятся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Папка под номером 3656, содержащая личное дело Кайданова, одна из самых толстых в лицейском архиве. Открывается она формулярным списком профессора, составленным в 1813 году, а заканчивается запросом 4-го стола II отделения канцелярии капитула орденов Министерства Императорского двора от 26 мая 1869 года, где запрашиваются сведения: откуда родом, имеет ли недвижимое

имущество, куда выбыл и жив ли вообще коллежский советник Иван Кузьмич Кайданов, пожалованный орденом св. Анны 2-й степени в 1817 году. Четверть века стояла Российская Империя, не ведая о недвижимом имуществе коллежского советника, и потом еще столько же не знала о его смерти, но вот пришел его черед, и поплыла от стола к столу бумага с запросом “по всей форме”. Однако в деле Кайданова помимо этого бессмысленного запроса есть и более интересные бумаги, в частности, освещающие историю создания книги, а также все перипетии ее издания.

От начала XIX века до нас дошло совсем немного столь детально зафиксированных в официальных документах всех этапов издания какой-либо книги. И с этой точки зрения личное дело Кайданова представляет большой интерес для историка книги вообще.

21 апреля 1813 года директор Лицея В. Ф. Малиновский сообщал “Господину министру народного просвещения” графу А. К. Разумовскому: “Адъюнкт-профессор... г-н Кайданов, представив мне сочинение свое “Основания всеобщей политической истории”, просил подвергнуть его милостивому воззрению Вашего Сиятельства. Почему сей опыт трудов его честь имею представить при сем на высокое Ваше благоусмотрение”.

То ли автору было нестерпимо, то ли он очень сомневался в успехе, но на просьбу министра, как видно из его ответа, была представлена только часть книги. Это было нарушением принятого порядка, и в начале июня министр холодно предложил, чтобы автор представил ему продолжение книги. Тем не менее 19 июня Разумовский известил лицейскую Конференцию, что представленная ему рукопись была отправлена на рассмотрение в Академию наук, откуда было получено “одобрительное мнение академика Шторха”⁸ - известного ученого, коллеги Кайданова. Единственное замечание рецензента относилось к тому, что Кайданов недостаточно почтительно отозвался о своих коллегах “славных историках” Гольдшмидте, Герене, Мейнерсе и Манкерте. Вместо того чтобы сказать, что они могут “служить образцами” или употребить “другое подобное изречение”, Кайданов написал, что они лишь “заслуживают похвалу”. “В прочем... предлагаю Конференции принять меры для напечатания оногo на счет своих хозяйственных сумм, продолжение сей рукописи, по мере сочинения, мне предварительно доставлять”, - писал Разумовский в Лицей⁹.

В связи с печатанием книги Кайданова любопытна предпринятая Малиновским попытка расширения лицейской автономии. В ответ на распоряжение издать книгу 1 июля лицейская Конфе-

рентия обратилась к министру со следующим образцом канцелярской витиеватости: “По случаю рукописи г. Кайданова, одобренной Вашим Сиятельством к напечатанию, Конференция рассуждала, должно ли представлять оную на рассмотрение Цензурному комитету, и поелику академиям, университетам, всем высшим **ученым** заведениям... присвоено право цензурировать сочиняемые **членами** их книги: то честь имеет представить на высокое усмотрение Вашего Сиятельства, не благоугодно ли будет для облегчения и ускорения печатания необходимых для Лицея книг и для сравнения сего места со всеми вышними сего рода заведениями, предоставить сие право и Конференции Императорского Лицея”¹⁰.

Однако “дней Александровых прекрасное начало”, когда был задуман Лицей, увы, уже прошло. Ответ министра последовал немедленно. 4 июля Разумовский отверг просьбу-предложение Конференции о бесцензурном издании сочинений лицейских профессоров, так как “право таковое присвоено другим высшим **ученым** заведениям в таком только случае, когда сочинения печатаются от имени целого сословия, а не от лица одного члена”¹¹.

Впрочем, цензура книга миновала без особых затруднений. И разрешение было подписано цензором Тимковским уже 12 августа 1813 года. В цензуру рукопись была направлена, видимо, не сразу после ответа министра, а только когда рукопись была подготовлена во всем объеме.

А через месяц после прохождения цензуры Разумовский сообщил, что продолжение рукописи было рассмотрено тем же академиком Шторхом, “который отозвался о сем сочинении с отличною похвалою”¹². Вскоре пришел ответ из Академии наук на посланный заранее запрос лицейской Конференции о стоимости печати. Печатать книгу предполагалось тиражом 600 экземпляров на обыкновенной бумаге и 50 - на голландской, что должно было стоить “набор каждого листа 5 руб. 80 коп., тиснение 650 экземпляров 10 руб. Пергаментной бумаги 2 дести 2 листа 3 руб. 18 1/2 коп., любской бумаги 1 стопа 6 дестей 15 руб. 73 коп., итого каждый лист будет стоить 34 рубля 41 1/2 копейки”¹³. Кроме того, набор каждого листа таблиц должен был стоить по 18 рублей. Эта смета академической типографии была принята, и 7 октября 1813 года лицейская Конференция официально сообщила в Комитет Академии наук, “дабы он благоволил напечатать 600 экземпляров оной книги на обыкновенной и 50 на веленовой бумаге, а по печатании представить бы счет в Конференцию для получения от оной денег”¹⁴. На этом переписка об издании книги прекращается более чем на год, который потребовался академической типографии, чтобы напеча-

тать книгу в 465 страниц в четвертую долю листа с приложением пяти таблиц.

24 ноября 1814 года Комитет Академии наук сообщил, что 650 экземпляров книги отпечатаны, и вскоре весь тираж был доставлен в Лицей. В “Книге для регистрации билетов, выданных на выпуск изданий из типографий”, которая, как положено, велась в Петербургском цензурном комитете, выдача билета на книгу Кайданова помечена 16 февраля 1815 года¹⁵. Однако нельзя исключать, что вопреки существовавшему порядку перевоз книг из казенной типографии в Петербурге к казенному заказчику в Царском Селе произошел до оформления билета в Цензурном комитете.

9 декабря министр Разумовский следующим образом распорядился тиражом: “...выдать адъюнкт-профессору Кайданову 40 экземпляров сочиненных им “Оснований всеобщей политической истории”, отпечатанных на веленовой бумаге, достальные же 10 экземпляров отдать переплести в сафьяновый переплет и доставить мне для поднесения Императорской фамилии. Из числа экземпляров, напечатанных на простой бумаге, можно выдать воспитанникам Лицея по одному, а в Благородный пансион (при Лицее. - М. А.) отпустить всего тридцать. Что же касается до награждения Кайданова, то предлагаю Конференции взять с него подписку, что он сочинение свое уступает в собственность Лицею, спросить его, какой именно награды он желает, и мне о том донести”¹⁶.

Как видим, понятие об авторском праве было не чуждо министру. И хотя, по нашим понятиям, оно было несколько своеобразным, но, видимо, соответствовало нравам своего времени. 13 января 1815 года (через пять дней после лицейского экзамена, где Пушкин в присутствии Державина читал “Воспоминания в Царском Селе”) Разумовский известил лицейскую Конференцию, что в соответствии с объяснением Кайданова он согласен на выдачу ему 1000 руб. за уступку книги, и “по возвращении сюда Государя Императора при поднесении Его Величеству сочинения сего буду ходатайствовать о пожаловании Кайданову подарка”. В объяснении Кайданов “намекал”, что вышедшая книга является лишь первой частью задуманного сочинения, и хотел оговорить условия оплаты своей дальнейшей работы. На это Разумовский ответил, что награда “будет зависеть от достоинства сочинения”. Таким образом заказа на продолжение Кайданов не получил. Кроме того, этим же письмом он распорядился, “чтобы напечатанной уже первой части одного послано было по экземпляру во все губернские гимназии”, и запрашивал, “во что обойдется каждый экземпляр... считая все издержки”¹⁷.

Вот как выглядела калькуляция на все издание, составленная по указанию министра (затраты даны в рублях ассигнациями):

Типографии	1130 руб. 28 коп.
Кайданову “за уступку книги в пользу Лицея (“награда”, запрошенная автором с разрешения министра)	1000 руб.
Перевоз книги из типографии в Лицей	20 руб.
Раскрашивание хронологических таблиц	25 руб.
Переплет в сафьян 10 экз. для “Высочайших особ”	70 руб.
Переплет в корешок 66 экз.	66 руб.
Переплет в бумагу 12 экз.	4 руб.
Итого:	<hr/> 2315 руб. 28 коп.

Таким образом, каждый из 650 экземпляров (включая и 40, выданных Кайданову) обошелся в 3 рубля 56 копеек¹⁸.

Кроме указанных в смете затрат, 70 экземпляров, предназначенных для отсылки в губернские гимназии, предполагалось переплести в бумагу, но это тогда не было сделано.

Заботы о раскраске таблиц и переплете книг для царской фамилии были возложены на автора. 30 апреля 1815 года Кайданов, получивший уже к этому времени “награду”, доносил в хозяйственное правление Лицея, что 10 экземпляров в сафьяне от переплетчика Мертенса получены, таблицы раскрашены и “да благоволит само правление” принять меры, чтобы они (экземпляры, предназначенные для лицеистов и пансионеров. - М. А.) были переплетены тем скорее, что в Лицее и пансионе предстоит в оных великая необходимость¹⁹. В скором времени книги наконец дошли до лицеистов и воспитанников пансиона, но основная часть тиража лежала в Лицее без движения, что, вероятно, в значительной мере следует объяснить болезнью и смертью (23 марта 1814 года) первого директора Лицея В. Ф. Малиновского. Только 23 марта 1816 года лицейская Конференция в соответствии с требованием министра распорядилась из 531 имевшегося в Лицее экземпляра 250 отослать для продажи в Главное правление училищ²⁰. Одновременно спохватились

отправить 70 экземпляров в губернские гимназии, как было предписано Разумовским более года назад. Контроль исполнения в России, как видим, в те времена был не на высоте.

Цена книги была назначена 4 руб. 50 коп. без переплета и 5 рублей в бумажном переплете, что полностью компенсировало стоимость книг, оставленных для нужд Лицея. Книга продавалась, минуя частных книготорговцев, через книжную лавку Департамента народного просвещения канцелярии и расходилась плохо. Только в апреле 1818 года в Лицей поступили 100 руб. 75 коп. за первые 22 экземпляра из трехсот, фактически отправленных для продажи. К этому времени Кайданов успел уже и переработать свою книгу, которая вновь вышла в 1817 году, и даже получить от заехавшего ненадолго в Россию Александра I бриллиантовый перстень и орден в качестве высочайшего подарка за первую книгу.

Учебники Кайданова получили широкое распространение в России. Книги Кайданова были адресованы не только учащейся молодежи. В предисловии к “Начертанию Истории государства Российского” (1829 год) автор писал: “Намерение мое было - издать сию книгу в виде учебной и вместе с тем так, чтобы она могла быть не бесполезною и для людей всякого возраста”²¹. В эти годы, после выхода “Истории государства Российского” Карамзина, интерес к различным книгам по истории был действительно велик среди людей “всякого возраста”. Но основными читателями Кайданова были ученики различных государственных учебных заведений, где его книги были приняты в качестве учебников. В уездных училищах, гимназиях и даже некоторых университетах историю учили “по Кайданову”.

Первыми же начали учиться по его учебникам лицеисты первого выпуска. Соученик Пушкина Олосинька Илличевский в письме от 10 декабря 1814 года сообщал: “Адъюнкт-профессор исторических и географических наук г. Кайданов; он сочинил прекрасную историю древних времен...”²² А в журнале “Лицейский мудрец” тот же Илличевский на карикатуре, изображающей профессоров, ищущих милости у графа Разумовского, нарисовал Кайданова хотя и на втором плане, но ближе всех к министру. Кайданов протягивает министру свою книгу, раскрытую на синхронистической таблице.

Вообще надо сказать, что Пушкин и его товарищи по первому выпуску Лицея относились к Кайданову неплохо. Он не был кумиром, как в определенные периоды Куницын или Галич, но своими лекциями и доброжелательным отношением к юношам заслужил их симпатии. И. И. Пущин в своих записках рассказывает,

что Пушкин показал как-то Кайданову более чем легкомысленное свое стихотворение “От всенощной вечер идя домой...”, на что Кайданов ему сказал: “Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее”. “Хорошо, что на этот раз подвернулся нам добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь”, - заключил свой рассказ Пушкин²³. Опасения его отнюдь не были преувеличены. Мы знаем, например, какие неприятности имел Пушкин из-за своего стихотворения “К молодой вдове”, попавшего в руки директора Энгельгардта. Видимо, добрые воспоминания о Кайданове сохранил Пушкин и в зрелом возрасте. В конце августа 1831 года поэт присутствовал на лицейском экзамене по истории. “Вполне объяснимо то, что Пушкин и Жуковский избрали для своего посещения Лицея день экзамена по истории: единственным из числа основных профессоров и наставников Пушкина в Лицее по гуманитарным предметам оставался в то время профессор истории И. К. Кайданов, и Пушкин, естественно, пожелал присутствовать именно на его экзамене”²⁴. Выбор Пушкина, действительно, не был случайным; известно, в частности, что он присылал в Лицей за расписанием экзаменов.

В свою очередь и Кайданов тоже хорошо понимал лицеиста Пушкина. Так, в табеле об успехах лицеистов за период с 19 марта по ноябрь 1812 года, в графе “История и география” о Пушкине говорится: “Более дарования, нежели прилежания, рассеян. Успехи довольно хороши”²⁵. А 1 января 1814 года Кайданов писал: “При малом прилежании оказывает очень хорошие успехи, и сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям. В поведении резв, но менее против прежнего”²⁶. Не будем обольщаться замечанием педагога насчет “резвости” его питомца в этой, в общем-то доброжелательной, характеристике. Слово “резвость” в начале прошлого века отнюдь не имело того безобидного оттенка, как сейчас; вспомним хотя бы онегинскую строчку: “...ребенок был резв, но мил”. И все же несмотря на “малое прилежание”, Пушкин не попал в число отпетых лентяев, которых Иван Кузьмич не любил и ругал немилосердно. Впрочем, как отмечал еще П. В. Анненков, “по единогласному свидетельству самих товарищей Пушкина”, последний наряду с русской и французской словесностью много и охотно занимался историей. Что же до весьма скромной оценки его знаний при окончании Лицея, то не надо забывать не только о “резвости” юного Пушкина, но и о том, что “в характере его было какое-то нежелание выказывать и те познания, которые он приобрел”.

Древняя история была одной из основных нравственно-политических наук, и преподаванию ее в Лицее придавалось большое значение. Лицейская Конференция в своем отчете за 1811-1817 годы так формулировала принципы преподавания истории в Лицее: "Конференция поставила в необходимую обязанность преподававшему излагать истины исторические со всей точностью и со всяким беспристрастием". Сердца же лицеистов на уроках истории должны были "исполняться" любви и признательности к "великим мужам", восставшим "противу предрассудков... противу злоупотреблений, обратившихся в обычай"²⁷. Причем мысль о "великих мужам", "восставших противу предрассудков", распространялась и на российскую историю. В этом отношении их взгляды в корне расходились с мнением Николая I, который менее чем через десять лет в ответ на пушкинскую "Записку о народном образовании", по сообщению А. Х. Бенкендорфа, "заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат искажочительным основанием совершенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному"²⁸. Государь император как бы передает выговор всей лицейской Конференции в лице ее гениального ученика. Но в 1814 году Николай не был еще даже наследником престола, а профессора еще помнили, что их Лицей был, как говорили, задуман для образования великого князя Николая и его младшего брата Михаила.

Основным источником примеров "великих мужей" в те времена была античность. "В истории Рима мы находили больше примеров благородства и.. величия души, чем в истории какой-либо другой страны", - писал, не претендуя на открытие, английский гуманист лорд Честерфилд за 72 года до открытия Царскосельского Лицея²⁹. Знание, или хотя бы знакомство с античной историей, считалось обязательным для мало-мальски образованного человека в России и в начале XIX века. Причем для лучшей части русской молодежи примеры античных героев были отнюдь не пустым звуком. На вопрос Следственной комиссии, "откуда заимствовали вы свободный образ мысли", декабрист Корнилович, сам историк, отвечал: "Изучение истории и чтение древних классиков и новейших политических писателей..."³⁰ "Чтение греческой и римской истории и жизнеописания великих мужей Плутарха и Корнелия Непота поселили во мне с детства любовь к вольности и народодержавию", - отвечал на этот вопрос декабрист П. И. Борисов³¹. Подобных

свидетельств, как говорится, не перечесать. И совершенно закономерным представляется, что уже при императоре Николае I историю греков и римлян предложено было преподавать с “наивозможнейшей краткостью”, в отличие от Финикии и Ассирии, историю которых рекомендовалось излагать “как можно пространнее”.

Молодой Пушкин широко пользовался античной символикой. Достаточно вспомнить названия его лицейских стихов: “Лицинию”, “Гроб Анакреона”, “К Морфею”, “Амур и Гименей”. Еще чаще боги и герои античности встречаются в тексте его стихов, не только лирических, но и гражданских:

*Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он - офицер гусарский”³².*

Так писал в 1820 году о Чаадаеве Пушкин. Кстати, справочный том к Полному собранию сочинений Пушкина (1937 - 1959 гг.) указывает, что имя Брута встречается у Пушкина 23 раза, а Перикла - 7 раз.

Примеры из русской истории не были в ходу среди образованного общества. “Мы прославляем патриотизм Брута, но молчим о патриотизме Петра, также принесшего своего сына в жертву отечеству”, - писал в 1817 году Николай Тургенев³³. Дело не только в том, что русская история еще недостаточно хорошо была известна русским; не менее важно, что многое в прошлом России считалось “неудобным”. Более полувека прошло с тех пор, как М. В. Ломоносов обвинял известного историка члена российской Академии наук Г. Ф. Миллера, что он “пишет и печатает... смутные времена Годунова и Расстригины - самую мрачную часть российской истории, из чего иностранные народы худые будут выводить следствия о нашей славе. Или нет других известий и дел российских, где бы по последней мере и добро с худом в равновесии видеть можно было?”³⁴. Хотя немало воды утекло со времен Ломоносова, и писавший в те годы историю России Карамзин, и еще не писавший ее Кайданов прекрасно понимали, что она далеко не лучший материал для примеров и сравнений, особенно при отсутствии “равновесия”. Мысль о том, что “ходить бывает склизко по камешкам иным”, глубоко сидела в умах русских людей, уже задолго до того, как она была высказана А. К. Толстым.

Таким образом, из всех курсов истории, преподававшихся в Лицее, именно истории древнего мира отводилось основное место в программе нравственного воспитания лицейстов.

В обращении к читателям, предшествовавшем самой книге, Кайданов писал: “Множество происшествий, встречаемых в истории, обременяют только память юноши и не доставят ему пользы, если они будут представлены без вкуса и порядка. Искусство сочинителя исторического руководства должно состоять в выборе таких только происшествий, кои, удовлетворяя любопытству юноши, обогащают ум его полезнейшими познаниями, образуют его сердце и направляют оное к добродетели”³⁵.

Действительно, с точки зрения “выбора происшествий” книга Кайданова отражает как господствовавшие в его времена взгляды на историю, так и уровень знаний своей эпохи. Хотя лекции Кайданова были для Пушкина и его товарищей не единственным источником сведений из истории древнего мира (помимо “факультативной” литературы в Лицее был курс российской и латинской словесности), именно Кайданов обобщил их и систематизировал. Его учебник позволяет нам судить об уровне знаний древнего мира не только Пушкина, но и нескольких последующих поколений, давших России Гоголя и Достоевского, Белинского и Некрасова, Герцена и Тургенева.

Итак, откроем изданные в 1814 году “Основания всеобщей политической истории. Часть первая. Древняя история”. К учебнику приложены пять синхронистических таблиц, которые отражают основные события, происходившие в разных государствах древности. География их обширна, но по сегодняшним меркам далеко не полна - рассматриваются Европа, Северная Африка и Передняя Азия вплоть до Армянского царства. Таким образом, в сферу изучения древней истории Пушкиным и большинством его современников не попадали древние Китай и Индия, Северная Америка и все Южное полушарие. Эта география не только отражает круг знаний, но и мировоззрение историков конца XVIII - начала XIX века, страдавших “европоцентризмом”. Не будет большим преувеличением сказать, что для образованного европейца начала прошлого века весь древний мир располагался по берегам Средиземного моря.

Хронологические рамки истории Кайданова совпадают с современными: от появления человека до окончательного падения Римской империи в 476 году. Вот только появление человека, как и большинство современных ему историков, он, “руководствуясь Св. Писанием” и в соответствии со средневековой традицией, относит к 5508 году до н. э. Рассказа о первобытном обществе у Кайданова нет. “Известия о происхождении мира и о первобытном состоянии его находятся в одном только Священном Писании,

яко откровении Божиим”, - четко сформулировал он свою позицию историка на государственной службе несколько позднее, в “Древней истории”, изданной в 1826 году и посвященной уже “Александрю Павловичу, самодержцу всероссийскому”³⁶. Поскольку столь безапелляционного положения не было в “Истории” 1814 года, мы можем, с большим или меньшим основанием, предполагать, что в своих лекциях первым лицеистам Иван Кузьмич был менее категоричен.

Дело в том, что правомерность использования Библии в качестве непреложного источника сведений из древней истории давно вызвала сомнение в Европе. “Критическая история Ветхого завета” Ришара Симона вышла еще в 1678 году. А один из предшественников французских просветителей английский историк лорд Болингброк в 1735 году писал: “...священные книги ни в одной из своих частей не предназначены к чему-нибудь, что хоть как-то похоже на всеобщую хронологию и историю”³⁷. Эта мысль, хорошо осознанная образованной Европой к началу XIX столетия, не мешала ей изучать Священную историю, но помогала смотреть на свое прошлое гораздо шире, чем его видели авторы Библии. Однако следует иметь в виду, что Болингброк высказал свою мысль уже находясь в эмиграции, потеряв надежду на продолжение своей политической карьеры; а адъюнкт-профессор Кайданов был преподавателем Императорского Лицея, располагавшегося во флигеле летнего Императорского дворца, и находился в самом начале своей успешной, многолетней карьеры.

В Лицее, как и в других российских учебных заведениях, преподавание Священной истории велось законоучителем из духовного звания. Профессор же истории Кайданов, в соответствии с взглядами историков XIX века, некоторые сведения из Библии использует лишь при изложении отдельных моментов истории древних евреев, Египта и Рима.

Весьма отличаются сведения Кайданова от современных, когда он переходит к истории Египта. “По недостатку исторических известий” египетская история излагалась им в основном по весьма отрывочным сообщениям Геродота. Автор совершенно явно чувствует сомнительность излагаемых им фактов. Так, рассказ о фиванских фараонах он заканчивает вопросом: “Подлинно ли они существовали, или имена их суть вымышлены?”³⁸. Сведения лицеистов об истории Древнего Египта составляют лишь малую часть познаний сегодняшних школьников; пожалуй, единственным одушевленным лицом со страниц кайдановского учебника предстает перед читателем царица Клеопатра, которая принадлежит не только

и даже не столько к египетской истории, сколько к римской. Кстати, именно Клеопатра стала единственной героиней пушкинских стихов, которую он нашел в древнеегипетской истории. Но не будем излишне строги к автору учебника, изданного в 1814 году. Ведь всего за 15 лет до того, в 1799 году, был найден розеттский камень. И лишь через шесть лет Жан Франсуа Шампольон сможет прочесть древнеегипетские иероглифы, и к историкам потечет поток сведений, без которых немыслима современная египтология. А пока что египетские иероглифы остаются для Кайданова “до сего времени необъяснимыми”, а египетская история покрыта “мраком баснословия и неизвестности”.

Значительно полнее излагает автор античную историю Греции и Рима. Но и здесь не будем забывать, что о Трое он мог рассказывать в основном лишь по древним авторам (Генрих Шлиман еще даже не родился), о нераскопанной еще крито-микенской культуре имел самое общее представление и даже о результатах раскопок Помпеи имел лишь самые первые, весьма неполные сведения. (Вспомним, что выставленная в Петербурге через двадцать лет картина Брюллова “Последний день Помпеи” была для публики открытием не только в живописи, но и в истории).

У каждой эпохи свое представление о мире. Древние греки не знали Америки, Австралии, Сибири, почти не знали Китая. Но древние Египет, Китай, Америка, по сути дела были неизвестны и Пушкину. Выйдя из стен Лицея, он ни разу не слышал ни о египетской царице Нефертити, ни разу не упомянул вождя восставших рабов Спартака. Однако если Нефертити была просто неизвестна историкам пушкинского времени, то имя Спартака неоднократно встречается еще у античных авторов. Тем не менее Кайданов, весьма бегло рассказывая о восстании рабов, вовсе не упоминает имени Спартака. Историографы XVIII - начала XIX века также чрезвычайно редко обращались к имени вождя рабов. Несмотря на то, что пьесы о Спартаке с успехом шли на европейских сценах в конце XVIII века, а его статуя, выставленная в Париже незадолго до июльской революции 1830 года, пользовалась большой популярностью, имя Спартака как исторического лица было мало известно в Европе и еще менее в России. Правда, родившийся всего на 19 лет позднее Пушкина Карл Маркс называет в “Исповеди” Спартака своим любимым героем, но это было уже почти через тридцать лет после смерти Пушкина - в 1865 году. У Пушкина же имя Спартака не встречается ни разу. Символами борцов за свободу для него были Брут и братья Гракхи. Спартак же, по всей вероятности, оставался неизвестным поэту. Мы знаем, что Николай I

переименовал “Историю Пугачева” в “Историю пугачевского бунта”. Принцип, что преступник, как Пугачев, не может иметь истории, как видим, не был изобретением самодержавного цензора, а был отражением господствовавших тогда в России взглядов.

Однако в общем надо сказать, что, несмотря на отдельные “провалы”, история Греции и Рима изложена Кайдановым гораздо полнее и чем в современном учебнике древней истории школьника и чем во французском курсе древней истории для королевских военных училищ, по которому в конце XVIII века вместе с другими обучался будущий император Наполеон.

Книга Кайданова имеет заголовок “Основания всеобщей политической истории”, однако по нему нелегко судить о политических взглядах автора, которые он провозглашал с лицейской кафедры. К описываемым событиям автор относится с позиций либерализма, но весьма и весьма умеренного. Человек либеральных взглядов, Кайданов выступает противником крайностей и монархии и республики, равно осуждая их. Вероятно, идеалом его было, как он писал в одном из более поздних изданий со ссылкой на Тацита: “Соединить две, по-видимому, противоположные вещи - свободу и Самодержавную власть”³⁹. Отдавая себе отчет в недостижимости идеала, Кайданов уже в первом издании своей “Древней истории” с симпатией говорит о братьях Гракхах, и вместе с тем, безоговорочно называя римских императоров Нерона и Калигулу злодеями, он все же считает монархическое правление “благодетельнейшим”.

В задачу этой работы не входит детальный анализ политических взглядов автора⁴⁰. Отметим лишь, что, несмотря на ряд недомолвок и оговорок, основаны они на учении французских просветителей XVIII века, и прежде всего Монтескье и Руссо.

В 1826 году только что возвращенный из михайловской ссылки ученик Кайданова в представленной на “Высочайшее имя” записке “О народном воспитании”, вероятно, полемизируя со своим учителем, так изложит свои взгляды на преподавание истории: “Не хитрить; не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, провознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем”⁴¹.

В учебнике 1814 года Кайданов называет убийц Цезаря злоумышленниками, но в отличие от своих более поздних книг воздерживается от их прямого осуждения. Что же до его лекций первым лицеистам, то можно полагать, что его отношение к Бруту было положительным. Сказанное от написанного у него отличалось немало. До нас, например, дошли записи лекций Кайданова по другим предметам, сделанные однокашником Пушкина Горчаковым

и откорректированные самим Кайдановым. Внесенные им исправления относятся, в основном, к оценкам исторических событий и направлены на нейтрализацию слишком смелых в своем либерализме высказываний. Есть все основания думать, что пушкинское “не хитрить” при рассказе об убийстве Цезаря восходит именно к кайдановской манере преподавания, когда сказанное существенно отличалось от писанного, что, кстати, отмечалось и мемуаристами.

В своих воспоминаниях, написанных в 1854 году, другой соученик Пушкина Модест Корф, любивший “иногда макать свое острое перо в очень черные чернила”, писал о Кайданове: “Он учил все-таки несколько лучше, нежели писал”⁴². Вообще, надо сказать, скептические отзывы бывших лицеистов о профессорах, в частности и о Кайданове, нередко встречаются на страницах их мемуаров, писанных в зрелом возрасте и старости. Умалчивать об этом нельзя. Только что организованное учебное заведение нового типа, сочетавшее в себе гимназию и университет, не могло не иметь недостатков. Тем не менее на протяжении 100 лет Лицей был одним из основных поставщиков элиты для сфер управления и культуры России. Эти широко образованные люди, как правило, были знакомы с новейшей европейской философией, сочинениями историков-исследователей и историков-философов, были людьми XIX века. Ученики Кайданова становились современниками Гладстона и Линкольна, Бисмарка и Фейербаха, Чернышевского и Прудона, Гарibaldi и Маркса. Естественно, что они перерастали своего скромного учителя - русского семинариста, проучившегося в начале века два года в Геттингене и умершего почти за двадцать лет до отмены крепостного права, - для которого идеи Вольтера и Руссо были еще не вполне дозволенной новостью.

С другой стороны, К. Веселовский, окончивший Лицей в 1838 году, отмечая неудовлетворительность преподавания истории Кайдановым, писал: “Было ли то действием старости, утомления ли от пройденного жизненного пути, или следствием житейской мудрости малоросса, который, как умный человек, должен был сознавать, что у нас в то время могла существовать только история *in usum delphini* (“для наследника престола” - лат. - М. А.)”⁴³. Для пояснения последней мысли вспомним слова А. Х. Бенкендорфа в связи с публикацией “философических писем” Чаадаева в 1836 году: “Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение; вот... точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана”. Это изречение правой руки императора касалось

Кайданова и как автора неоднократно переиздававшегося учебника русской истории и как профессора истории Императорского Лицея.

Что стоит за подобными директивами, Кайданов представлял неплохо хотя бы по опыту 1821 года, когда в пору гонений на Куницына два места его учебника древней истории были найдены "сомнительными" духовными цензорами. Что же до личных взглядов благонамеренного профессора, отметим лишь, что сыновья его, учившиеся в Лицее, оказались причастными к делу петрашевцев.

Объектом исследования настоящей очерка в первую очередь является не сам Иван Кузьмич Кайданов, личность в русской историографии отнюдь не первостепенная, а именно его учебник древней истории. Первый из серии многочисленных кайдановских учебников истории, удававшихся даже "Высочайшего посвящения", которые на протяжении почти тридцати лет господствовали в русской школе. В личном деле Кайданова хранится печатное объявление (цензурное разрешение 3 сентября 1841 года) о выходе в свет третьей части учебной книги всеобщей истории заслуженного профессора И. К. Кайданова, содержащей историю XVI - XVIII веков "с присовокуплением истории 30 лет текущей половины XIX века". Рекламируя, видимо, хорошо известный публике товар, автор объявления писал "...почти все нынешнее новое просвещенное русское поколение обучалось истории по сочинениям г. Кайданова; многие из его сочинений переведены на языки немецкий, польский, молдавский и сербский"⁴⁴. Здесь, правда, надо иметь в виду, что последующие учебники Кайданова существенно отличались от книги 1814 года не столько содержанием, сколько оценкой событий.

Итак, учениками Кайданова были не только лицеисты от А. С. Пушкина до М. Е. Салтыкова-Щедрина, поступившего в Лицей в 1838 году, по учебникам Кайданова должны были заниматься Гоголь в Нежинской гимназии и Некрасов - в Ярославской. В лермонтовских Тарханах хранится многотомная история аббата Милло, купленная заботливой бабушкой для любимого внука Мишеля. Однако и Лермонтов не избежал встречи с Кайдановым, когда в 1830 году поступил в Московский университет, где преподавание "по Кайданову" велось до 1833 года. В. Г. Белинского Кайданов сопровождал всю его школьную жизнь. В Чембарском уездном училище, в Пензенской гимназии и, наконец, в Московском университете преподаватели истории "не выходили из пределов" руководств Кайданова. И хотя учебники истории Кайданова не раз становились мишенью для остроумия великого критика, в 1841 году он несмотря ни на что недвусмысленно писал, что они были "несравненно лучше всех исторических учебников на русском языке"⁴⁵.

И. С. Тургенев, обучавшийся в московских пансионах и в 1833 году поступивший в Московский университет, вложил в руки героя “Первой любви”, готовящегося стать студентом, одно из изданий “Древней истории” Кайданова. В 1860 году, когда была написана “Первая любовь”, память об учебнике покойного профессора, видимо, была еще столь свежа и безупречна, что Тургенев мог просто написать “взялся за Кайданова” и тут же, без особой иронии, именовал книгу “знаменитым учебником”.

Какими бы наивными ни казались нам сегодня исторические сочинения Кайданова, вспомним все же, что не “оказавший особых успехов” его ученик Пушкин стал со временем автором “Истории Пугачева”, готовил историю Петра, написал “Бориса Годунова”, “Капитанскую дочку” и “Арапа Петра Великого”. В библиотеке Пушкина сохранилось кайдановское “Краткое изложение дипломатии Российского двора” (1613 - 1762 гг.), изданное в 1833 году - в период, когда он особенно много занимался историей, в частности Пугачевым. Книга, кстати, разрезана именно на страницах, посвященных дипломатии Екатерины II.





КНИГИ ПРОФЕССОРА КУНИЦЫНА

Вернувшийся из “путешествия в иностранные земли для усовершенствования себя по части политических наук”¹ 17 августа 1811 года Александр Куницын был произведен в адъюнкт-профессора нравственных наук и определен в Царско-сельский Лицей.

Он был родом из села Кой, которое считалось в 37 верстах от уездного Кашина и 140 от губернской Твери. В селе была каменная, построенная в 1731 году церковь “во имя живоначальная Троицы с приделом Благовещения пресвятой Богородицы”, которая по клировой ведомости 1802 года была “в твердости”². Приход церкви включал десять селений, принадлежавших различным помещикам, но в самом Кое помещик был один: действительный тайный советник и камергер Александр Юрьевич Нелединский-Мелецкий, который в селе не жил. Всего в приходе на 2 января 1802 года числилось 2036 мужских и 2103 женские души.

Отец Александра Куницына этой фамилии никогда не носил. В клировой книге 1788 года он именуется вторым дьячком койского храма Петром Лаврентьевым 38 лет; причем особо указывается, что он племянник дьякона Андрея и в дьячках состоит с 1768 года, то есть с 18 лет. Женой его показана Мавра Васильевна 36 лет. В 1802 году дьячку Петру Лаврентьеву - 52 года, жене - 50, и он снова показан как дьяконский родственник - двоюродный брат

бывшего на 6 лет моложе дьякона Дмитрия Петрова. Кроме того, в книге 1802 года отмечено, что Петр Лаврентьев “в школах не был”. В клировой книге 1788 года¹ у него числятся четверо детей: один сын девяти лет в “тверской семинарии”, второй шестилетний Матвей “часослов учит”, третий - Александр двух лет и годовалая дочь Александра. В книге же 1802 года о старшем сыне и младшей дочери сведений нет; Матвей “из риторики взят в Академию наук”, Александр - “в тверской семинарии в риторике” и уже носит фамилию Куницын, сын Иван, одиннадцати лет, в “кашинской гимназии” тоже имеет фамилию Куницын. Термин “гимназия”, видимо, был уже “на слуху”, хотя, конечно, гимназии в полном смысле этого слова в уездном Кашине тогда быть не могло. Таким образом, Александр Куницын родом был из “духовного сословия”, но не из семьи священнослужителей.

Постоянное подчеркивание в клировых книгах родства Петра Лаврентьева с дьяконами Койской церкви, отдельное упоминание о его грамотности, наконец, твердая линия дьячка на получение его детьми формального образования дают почву для предположения, что у родителей Куницына были определенные сложности с их социальным статусом. Возможно даже, что всему семейству угрожала перспектива стать крепостными. С этой точки зрения, быть может, не случайно совпадение имен будущего профессора и его младшей сестры с именем койского помещика Александра Юрьевича Нелединского-Мелецкого.

Что же до года рождения Александра Куницына, то из всех приводимых в литературе дат, от 1783 до 1793-го, наиболее вероятной на основании клировых книг представляется 1785 год, так как книга 1788 года составлялась по состоянию на 1 января этого года.

В 1797 году Куницын поступает “на собственный кошт” в Кашинское духовное училище, где, видимо, и получает свою фамилию, а оттуда переходит в тверскую семинарию⁴. Из семинарии можно было выйти в священники или дьяконы, монастырские послушники, в армейскую семинарию или даже в Славяно-греко-латинскую академию. Но был и другой путь - в приказные, в военную службу или же в немногие тогда светские учебные заведения вплоть до Медико-хирургической академии в Петербурге. В 1803 году Куницын, как и некоторые другие будущие его коллеги по Лицею, был зачислен в Петербургский педагогический институт, тогда еще называвшийся Учительской гимназией. По окончании института в 1808 году в числе 12 лучших выпускников, он три года провел в университетах Германии (Геттинген и Гейдельберг) и Франции (Париж), после чего выдержал экзамен на звание адъюнкт-

профессора “по наукам нравственным, разумея под оными философские и политические”⁵. Блестящая, но не столь уж редкая карьера для “поповича”. Именно выходцы из духовного сословия составляли основу формировавшейся тогда русской профессиональной интеллигенции.

Устав Лицея, предусматривавший первенство нравственных наук, был утвержден еще в 1810 году, а в августовские дни 1811 года экзамены держали юные кандидаты в Лицей и их молодые преподаватели.

Через два месяца, 19 октября, состоялось официальное открытие Лицея.

В присутствии царя, царской семьи, высших сановников империи и столичных педагогов прочли свои речи директор Департамента министерства народного просвещения И. И. Мартынов и директор Лицея В. Ф. Малиновский. Вслед за ними “смело, бодро выступил профессор полит<ических наук> А. П. Куницын - и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика при появлении нового оратора, под влиянием предшествующего впечатления, видимо, пугалась и вооружилась терпением; но по мере того, как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживилось, и к концу его заключительной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклонном положении к говорившему: верный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест - награда, лестная для молодого человека, только возвратившегося... из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте”⁶. Так, уже на склоне лет, писал стоявший в 1811 году в шеренге лицеистов И. И. Пущин. Хотя М. А. Корф в своих мемуарах писал, что Пущин был неоправданно строг к речи Малиновского, выступившего перед Куницыным, но, очевидно, пожилому лицейскому директору было не под силу то, что мог его молодой адъютант-профессор: выучить практически наизусть свою не столь уж краткую речь. Да и характер Малиновский имел совсем иной, чем Куницын.

В “Журнале для записи поступивших на рассмотрение Петербургского цензурного комитета книг и рукописей” 1 октября 1811 года было отмечено:

“Доставлена рукопись речей, прочитанных при торжественном открытии Императорского Царскосельского Лицея в присутствии Его Императорского Величества и августейшей фамилии, и

стихи на сей случай сочиненные, Октября... дня 1811. Доставлена профессором Кошанским”⁷.

На следующий день, 2 октября, рукопись была одобрена цензором Тимковским.

А через два дня после торжества, 21 октября, уже отпечатанная книга поступила в цензурный комитет в качестве обязательного экземпляра, который должен был быть сдан в цензуру до выпуска книги в свет⁸. Еще через 2 недели в соответствии с распоряжением напечатать отдельным изданием заслужившую “полное одобрение монарха” речь Куницына в Петербургскую цензуру поступила рукопись “Речь, говоренная в наставление воспитанникам Императорского Царскосельского Лицея адъюнкт-профессором Куницыным”. Она была доставлена самим Куницыным 7 декабря, и в тот же день ее одобрил тот же Тимковский⁹. Маленькая, всего на восемь страничек, брошюра уже 22 декабря получила билет на выпуск из типографии и стала первой напечатанной книгой А. П. Куницына. О том, что речь на открытии Лицея неоднократно репетировалась, редактировалась и заучивалась автором, имеются свидетельства современников.

В обычае времени было и просто-напросто написать речь для своего подчиненного, которую он затем и произносил на торжественном акте. Как вспоминал в 1812 году престарелый Державин, в бытность его губернатором 25-30 лет назад ему приходилось поступать так неоднократно. Но это происходило в глубокой провинции, в местах, где не было возможности найти в светской или духовной среде человека, способного подготовить торжественное слово самостоятельно. В 1811 году в Царском Селе ситуация была иной. Да и Разумовский не обладал слогом Державина. Тем не менее речь директора Лицея В. Ф. Малиновского, произнесенная им 19 октября 1811 года, была написана директором Департамента народного просвещения И. И. Мартыновым.

Из факта же сдачи речи Куницына в цензуру за 18 дней до торжественного акта и почти полного соответствия текстов, сданных цензору 1 октября и 7 декабря (имеются лишь редакционно-стилистические разночтения), можно сделать определенные выводы.

Во-первых, безусловно, что в отдельном издании речи Куницына был напечатан тот самый текст, который Куницын произносил перед Александром I и Александром Пушкиным. Нет никакой надобности пытаться проверять и уточнять его по воспоминаниям современников. Наоборот, по степени точности передачи содержания речи Куницына можно в определенной мере судить о достоверности самих воспоминаний.

Во-вторых, несомненным представляется подтверждаемая современниками длительная подготовка речи и ее редактирование начальниками Куницына вплоть до министра Разумовского, которые были ответственны за торжественный акт открытия Лицея. Причем сам Куницын, рассказывая о торжественном акте открытия Лицея, с большими опасениями упоминает о холодном одобрении министром его речи, что позволяет предполагать какие-то трения между ним и Разумовским в процессе подготовки речи. К чести Разумовского опасения Куницына оказались напрасными.

И в-третьих, не покушаясь на авторство Куницына, следует признать, что идеи, высказанные в этой знаменитой речи, - либеральные, но отнюдь не революционные, более или менее укладывающиеся в рамки просвещенного абсолютизма, - отражали или, по крайней мере, не противоречили настроениям правительственных верхов России в 1811 году. В противном случае достаточно опытный царедворец Разумовский не допустил бы произнесения такой речи. Причину успеха речи Куницына, помимо ораторских данных автора, следует видеть не в минутном благодушии императора, а в соответствии ее содержания духу и настроениям, господствовавшим в высших сферах империи. Мысли Куницына в достаточной мере соответствовали если не личным взглядам Александра I, то, во всяком случае, суждениям, им одобрявшимся и имеющим самое широкое распространение в сферах, определявших завтрашний день России. Можно даже предположить, что столь необычная речь была инспирирована самим Александром I или кем-то из его самого близкого окружения, но без серьезных документальных или свидетельских подтверждений это соображение следует считать умозрительным, хотя и не абсолютно беспочвенным.

Кроме двух брошюр, речь Куницына вместе с речью Малиновского была напечатана в 33-м (последнем за 1811 год) номере "Периодического сочинения об успехах народного просвещения". Троекратная публикация официальной речи чиновника VIII класса - случай по тем временам исключительный.

Речь Куницына произвела на слушателей большое, на некоторых неизгладимое впечатление. Хотя сам Куницын считал, что "дети" в основном "смотрели на государя", слушавший его в строю лицейстов Пушкин, впоследствии составляя программу автобиографии, отмечал: "Лицей. Открытие. Малиновский. Государь. Куницын"¹⁰. И развернул этот конспект в стихах, посвященных незабываемой дате 19 октября:

*Вы помните, когда возник Лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,*

*И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей¹¹.*

Между тем Лицей перешел от праздников к будням. Намеченная программа преподавания нравственных наук на первые три года обучения предусматривала обширный курс логики, а на последующие три года - “собственно науки нравственные” с изложением философских понятий о правах и обязанностях и разделением их “по разным отношениям на право естественное, публичное, гражданское”, а также этику¹². Однако на практике столь строгого разделения между отдельными частями курса не было, и лицеисты с первого года оказались не только в курсе логических схем, но и философско-этических проблем своего времени.

“...Куницын умел учить и добру учил!”, - писал, преодолевая личную неприязнь, в 1821 году Е. А. Энгельгардт, ставший директором Лицея только в 1816 году, но хорошо осведомленный о его делах со времени основания¹³. Выделял Куницына в своих воспоминаниях и М. А. Корф, по характеру своему не склонный к излишней чувствительности: “Куницын был, конечно, даровитее своих товарищей и, в особенности, говорил складнее, хотя без большого изящества; сверх того у него было живое воображение и он обилвал рассказами, сравнениями и т. п. Но все это было заметно в нем более вначале, пока он преподавал нам нравственную философию; после, при переходе в римское и русское право, в политическую экономию и финансы, он стал все более и более остывать к своим предметам, а мы к его предметам”¹⁴. Оставим на совести мемуариста сравнение несравнимого: нравственной философии и финансов, то тем не менее какое-то охлаждение между первыми лицеистами и Куницыным наметилось на старшем курсе (1815 - 1817 годы). Известно, что в это время Куницын обратился к министру А. К. Разумовскому с предложением углубить курс политических наук в Лицее, на что министр согласия не дал, мотивируя свой отказ тем, что в отличие от студентов университета лицеисты, готовившиеся “для важных частей службы государственной”, нуждаются лишь в общих сведениях и основах наук. Такой подход, вероятно, и предопределил впоследствии желание Куницына перейти в университет, студенты которого были настроены на более глубокое изучение наук. Пушкинское “мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь”, - звучит, конечно, весьма преувеличенно по отношению к выпускнику Царскосельского Лицея, но в целом-то довольно точно отражает отношение дворянской молодежи

начала XIX века к систематическому образованию. Контингент лицейстов, как известно, комплектовался из детей исключительно потомственных дворян, которые в русских университетах в то время составляли меньшинство.

Отзвук настроений лицейстов можно уловить в строках лицейской песни, посвященной Куницыну - суховатому полит-эконому и юристу:

*Известен третий способ
Через откупщиков,
В сем случае помещик
Владелец лишь земле
К возмездным договорам
Относятся еще
Наем, уполномочье
Служебный договор¹⁵.*

Однако и в этой колкой песне Куницыну досталось меньше, чем большинству его коллег. В общем отношения Куницына с лицеистами первого выпуска складывались хорошо.

Даже не слишком прилежный Пушкин, по воспоминаниям Пущина, “охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал... все делалось а *livre ouvert*”¹⁶. Вот отзыв Куницына о Пушкине в конце 1812 года: “Весьма понятен, замысловат и остроумен, но вовсе не прилежен. Он способен только к самым легким предметам, требующим самого малого напряжения, отчего успехи его очень незначущи, особливо в логике. Характер имеет живой, но скрытый и вместе вспылчивый”¹⁷. Тем не менее в аттестате Пушкина, выданном ему по окончании Лицея, успехи его в логике, нравственной философии, праве естественном, гражданском и уголовном отмечены как хорошие, а в государственной экономии и финансах - как весьма хорошие.

Личность Куницына вызывала уважение у его учеников. На дошедшей до нас карикатуре Илличевского “Лицейские преподаватели, ищущие милости у графа Разумовского” Куницын вместе с братом Марата - преподавателем французского языка де Будри, который, как и Куницын, имел орден, - изображен спиной к министру, отнюдь не ожидая от него каких-либо милостей. А более чем через двадцать лет ученик Куницына писал на сочиненной им “Истории Пугачевского бунта”:

*Александр Петровичу Куницыну
от автора
в знак глубокого уважения
и благодарности*

*11 января 1835*¹⁸.

По-видимому, эта дарственная надпись не была случайной. По весьма обоснованному предположению А. Г. Никитина¹⁹, опубликованная в 1831 году в “Литературной газете” Дельвига и Пушкина статья “Листки из путешествия по Уральским горам 1829 года” принадлежит перу строгановского крепостного В. А. Волегова и на пути в редакцию прошла через руки А. П. Куницына. В таком случае мы имеем еще одну ниточку, связывающую Пушкина с его профессором в начале 30-х годов. При этом нужно иметь в виду, что “Литературная газета” отнюдь не была самым популярным изданием своего времени, а материал об Урале был достаточно интересным и экзотичным для Петербурга. С другой стороны, публикация статьи крепостного человека была делом непростым и в какой-то мере “неудобным”. Поэтому ассоциация Куницын - Пушкин - Дельвиг в данном случае была союзом единомышленников. Таким образом, дарственная Пушкина на “Истории Пугачевского бунта” уже не выглядит одиночным фактом почтения ученика к бывшему учителю; хотя ученик действительно на протяжении всей жизни сохранял о своем учителе лучшее впечатление. Столь хорошо знавший Пушкина во второй половине его жизни Петр Александрович Плетнев писал, что о лекциях Куницына Пушкин “вспоминал всегда с восхищением”.

Весьма интересным представляются и наблюдения Е. М. Косачевской о текстуальных совпадениях пушкинской оды “Деревня” с текстом лекций Куницына²⁰. Можно предполагать, что отмеченная ею близость текстов закономерна и не единична.

Как известно, специальных учебников, соответствующих лицейским программам, не было, да и вообще в это время репертуар оригинальных русских учебников был более чем скромным. Куницын, как и большинство других лицейских преподавателей, вынужден был вести занятия по своим “тетрадам”, которые составлял сам, основываясь на лучших иностранных сочинениях. “Нравственность” Куницын преподавал по “сочинению” Якоба, психологию - по “руководству” Шульца, политическую экономию - “по своим тетрадям, руководствуясь сочинениями Адама Смита” (“Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом”²¹, - напишет вскоре, в 1823 году, недавний лицеист Пушкин в “Евгении Онегине” - по выражению П. А. Плетнева “карманном зеркале петербургской молодежи”²²).

Что же до курса естественного права, то Куницын читал его по своим тетрадам, руководствуясь “новейшими сочинениями по сей части” Канта, Шмальца, Гуфеланда и Клейна, а также книгой Монтескье “О разуме законов”, причем русское гражданское право излагалось по системе, принятой в Комиссии составления законов. Однако отсутствие печатного учебника создавало большие неудобства как преподавателю, так и лицеистам. “При неимении в то время никаких печатных курсов, он (Куницын. - М. А.) сам писал свои записки, а мы должны были их списывать и изучать слово в слово, совершенно в долбежку...”, - вспоминал впоследствии М. А. Корф²³.

Потребность в создании учебников по своим предметам испытывали все лицейские преподаватели, и, поскольку это являлось одной из их обязанностей и поощрялось начальством, вскоре после открытия Лицея многие из них взялись за эту работу.

Сохранилось письмо министра Разумовского директору Лицея В. Ф. Малиновскому от 3 июля 1812 года: “По изъяснению Вашему, что адъюнкт-профессор Куницын занимается сочинением учебной книги для преподавания ифики (этики. - М. А.), прошу ежели книга сия уже окончена, потребовать оную от него и мне доставить на предварительное рассмотрение”²⁴. Однако книга эта в свет не вышла и, по всей вероятности, окончена автором также не была.

Имеются сведения, что в 1813 году Куницын хотел составить учебник русского законодательства по плану Комиссии составления законов (преобразованной впоследствии во II отделение Собственной Е. И. В. канцелярии)²⁵, но эта работа также не была закончена, хотя министр Разумовский ею заинтересовался. У нас нет достоверных сведений о причинах, помешавших Куницыну закончить эти книги. Вероятно, какую-то роль сыграло здесь активное сотрудничество его в журнале “Сын отечества”, сказавшись, вероятно, и безвластие после смерти первого директора Лицея Малиновского. Были наверняка и другие причины. Но в 1814 году коллега Куницына по Лицею и однокашник по Петербургскому педагогическому институту и Геттингенскому университету И. К. Кайданов издал учебник древней истории, за что, помимо гонорара, был удостоен царской награды. Еще до того как полностью закончилось дившееся не один год предприятие Кайданова, начал хлопотать о своей книге и Александр Петрович Куницын. Возможно этим хлопотам поспособствовало предложение, исходившее из “высших” сфер. Впоследствии новый директор Лицея Е. А. Энгельгардт напоминал новому министру князю А. Н. Голицыну: “По окончании

первого курса, где В<аше> с<иятельство> изволили присутствовать при экзамене по сей науке (праву естественному. - М. А.) и изъявить свое удовольствие Куницыну, предложено было ему напечатать свои тетради для избавления воспитанников от лишнего труда списывания”²⁶. Таким образом, чуть не инициатором издания “Права естественного” можно считать человека, вскоре книгу запретившего, а автора едва не погубившего.

Но все по порядку.

3 сентября 1816 года Куницын пишет в Конференцию Лицея: “За неимением на русском языке учебной книги “Права естественного” я принужден был преподавать воспитанникам сию науку по собственной рукописи, давая им по временам списывать оную для повторения уроков. Таковая переписка занимает довольно много времени, да и тетради воспитанников не могут быть во всем исправны. Посему я намерен напечатать как сию рукопись, так и систематическое обозрение связи политических наук. Как по примерному счету для сего требуется не менее тысячи рублей, то прошу Конференцию сделать мне для сей цели вспоможение выдачею означенной суммы из казны Лицея заимообразно, за что я обязуюсь в счет оной доставить воспитанникам Лицея и Благородного пансиона”²⁷ потребное число экземпляров означенных книг по той же цене, по каковой обойдется напечатание оных. Оставшееся же затем количество денег внести по истечении года, считая со времени выдачи оных. Если же Конференция найдет сию меру неудобною к возврату требуемой мною суммы, то прошу вычитать оную из моего жалованья в течение года”²⁸.

Речь здесь идет о двух книгах, вышедших в 1817-1818 годах: “Изображение взаимной связи государственных сведений” (цензурное разрешение 30 июня 1817 года) и первой книге “Права естественного” (цензурное разрешение 29 марта 1818 года).

Печатание первой книги Кайданова в казенной типографии обошлось казне в 1315 руб.; получил же автор за “уступку книги” в качестве гонорара - 1000 рублей.

Куницын, как видим, хочет печатать свои книги (одна из них была небольшой брошюрой в 30 страниц) на свой страх и риск под ссуду, полученную от казны. В этом случае при тираже каждой книги в 1000 экземпляров с учетом книгопродавческой скидки можно было рассчитывать на прибыль в 2000-3000 рублей, кроме того, значительно ускорился выход книги в свет.

Делопроизводство у Энгельгардта было недолгим. 6 сентября он обращается к “исправляющему должность министра народного

просвещения” А. Н. Голицыну. Отправляя на его “благоусмотрение” письмо профессора, он заключал: “Конференция... долгом постав-ляет объять, что напечатание оных книг находит она нужным для Лицея по причине, означенным в просьбе профессора Куницына. Первую же меру для уплаты требуемой суммы почитать наивыгоднейшею”²⁹.

14 сентября Голицын ответил согласием с условием возврата 1000 рублей по окончании печатания.

Обе книги без затруднений прошли цензуру (“Изображение взаимной связи государственных сведений” цензуровал Тимковский, “Право естественное” - Яценко) и были напечатаны в типографии Иос. Иоаннесова (Овсепа Ованисяна).

В 1817 году Кайданов напечатал у Иоаннесова второе издание своей древней истории. Что же до Куницына, то он, познакомившись с этой типографией, печатал там все свои книги³⁰.

1 апреля 1819 года Конференция Лицея констатирует, что печатание первой части “Права естественного” и “Изображение взаимной связи государственных сведений” окончено. Поскольку Куницын заявил, что печатание “Права естественного” обошлось по 75 копеек за экземпляр, а “Изображение взаимной связи...” - по 25 копеек, то вместо предложенных ей трехсот экземпляров книги “Конференция, имея необходимость в сих сочинениях и находя цену, назначенную профессором Куницыным весьма умеренною, убедила его уступить 500 экземпляров для Лицея и пансиона по означенной цене”³¹. Таким образом половина займа, полученного Куницыным, была погашена. Указанная Куницыным стоимость печатания обеих книг 1 рубль в сопоставлении с суммой запрошенной им ссуды 1000 рублей позволяет предположить с достаточной долей уверенности, что тираж “Права естественного” был около тысячи экземпляров (вторую часть книги Куницын смог напечатать за счет дохода от продажи оставшихся ему экземпляров первой части). Таким образом, половина тиража книги осталась в Лицее, что, как увидим, не способствовало ее сохранности.

14 октября 1819 года цензор Тимковский подписал цензурное разрешение на вторую часть “Права естественного”, имевшую подзаголовок “Право прикладное”. В начале 1820 года вторая часть “Права естественного” была напечатана все в той же типографии Иоаннесова. Книга Куницына, не будучи оригинальным трудом, тем не менее явилась одним из первых русских систематических трудов по естественному праву.

В то время Куницын был уже достаточно известной личностью в Петербурге. Преподавание в Лицее и университете, а также

его публицистическая деятельность на страницах “Сына Отечества”, продолжавшая опыт еще студенческих лет, сделали его имя популярным в либеральных кругах общества: Н. И. Тургенев предполагал, что Куницын будет основным сотрудником и соредктором замышлявшегося им журнала. Этот журнал под названием “Россиянин XIX века” должен был быть органом “Общества 19 года и XIX века”, которое, в свою очередь, задумывалось как легальный филиал декабристского “Союза благоденствия”.

Будущие декабристы П. Пестель, А. М. Муравьев, И. Бурцов, Ф. Глинка, А. Поджоно, Е. Оболенский и другие были слушателями “приватных” лекций, которые Куницын наряду с другими преподавателями университета читал “вольным” слушателям.

Основным местом службы Куницына в это время был только что преобразованный из Главного педагогического института Санкт-Петербургский университет, где преподавание велось глубже и основательнее по сравнению с Лицеом, выпускники которого должны были иметь широкий кругозор, не вникая в излишние детали.

12 апреля 1820 года Куницын приносит в дар университету один экземпляр второй части “Права естественного”, а университет, в свою очередь, купил у автора для “руководства студентов” 50 книг по 4 рубля экземпляр³². Кроме того, Куницын сдавал свою книгу на комиссию книгопродавцам. Так в “Реестре российским книгам, географическим атласам, картам и планам, продающимся в С.-Петербурге в книжных лавках Ивана Петрова Глазунова...”, изданном в 1821 году (цензурное разрешение от 5 июля 1820 года), под номером 1388 показаны две части “Права естественного” за 12 рублей. Все шло, казалось, наилучшим образом. 4 мая 1820 года директор Императорского Царскосельского Лицея Энгельгардт представил министру духовных дел и народного просвещения Голицыну книгу “Право естественное” сочинения профессора оногo Лицея Куницына” с просьбой “о поднесении оной Государю Императору”³³. Инициатором этого был сам Куницын, надевшийся на царскую награду.

От министра книга попала в Ученый комитет Главного управления училищ, который препроводил ее на рассмотрение своим членам. 2 июня книга была направлена академику Н. И. Фуссу, а 15 июня - действительному статскому советнику Д. П. Руничу - в недалеком будущем попечителю Петербургского учебного округа, а пока что помощнику попечителя, которым был арзамасец С. С. Уваров.

На заседание 15 июля 1820 года (присутствовали на заседании всего два человека - Фусс и Рунич, но протокол велся по всей форме) Н. И. Фусс представил свое "мнение" о книге Куницына. Он считал, что книга "заслуживает быть поднесенною Государю по следующим причинам:

1. Она первая, сколько известно, сочинена по сему предмету на отечественном языке.

2. Написана систематически и по хорошему плану, сходственному с планом лучших немецких сочинений о праве естественном...

5. В иностранных книгах о прикладном праве естественном часто встречаются начала, несовместимые с нашим государственным управлением; но Г. Куницын, не нарушая общей системы науки, сохранил в сем отношении надлежащую осторожность"³⁴.

Как видно из последнего пункта "мнения" этого крупного математика начала XIX века, он был не так уж наивен и в делах политических и достаточно хорошо ощущал несовместимость естественного права с самодержавным правлением.

Над приспособлением своей книги к существующему "государственному управлению" немало, по всей вероятности, поработал и сам Куницын, исключивший из нее, в частности, главу "О республиканских образах правления". И автору, и его рецензенту - людям европейски образованным, казалось, что декорум соблюден. Однако времена менялись, и менялись далеко не в лучшую сторону. На заседании ученого комитета 3 июля было решено окончательное заключение о книге отложить до получения мнения Рунич, которое он обещал представить впоследствии "на общее соображение". Это "впоследствии" затянулось почти на 2 месяца, однако отнюдь не из-за лени Рунич. В это время у бывшего московского почт-директора, год назад ставшего членом ученого комитета при Главном училище правления, действительно, дел было очень много. В частности, помимо своих основных обязанностей, он должен был вести работу в только что заведенном особом комитете по учреждению школ взаимного обучения. Занятия этого комитета, где Рунич тесно сотрудничал с восходящей "звездой" русского просветительства - М. А. Магницким, вылились в противодействие и борьбу с деятельностью близких к декабристам кругов, насаждавших эти училища. Одним из первых достижений особого комитета Магницкого - Рунич явилось изъятие таблиц для обучения чтению, где фигурировали слова: свобода, воля, раб, гражданин и другие, отнюдь не безобидные понятия и фразы. Сотрудничество Рунич с Магницким в тот самый период, когда он рассматривал "Право естественное", безусловно, позволило ему взглянуть на книгу Куницына глазами входившего в силу Магницкого и уловить

дозволенность и даже полезность полемики с автором, еще недавно удостоенным царской благосклонности.

В противном случае едва ли карьерист и служака Рунич посмел бы затянуть свой ответ. Дело в том, что хранящийся в фондах учёного комитета Главного правления училищ отзыв Д. П. Рунича помечен восьмым июля 1820 года, то есть, слушая мнение Н. И. Фусса, Рунич уже был знаком с книгой Куницына и имел уже свое “мнение” о ней. Отзыв его заканчивался так: “Злой дух тьмы посеемся над вселенною, силясь мрачными крылами своими заградить от смертных свет истинный, просвещающий и освещающий всякого человека в мире. Счастливым почту себя, если, по слову одного достопочтенного соотечественника моего (Магницкого. - М. А.), вырву хотя одно перо из черного крыла противника Христова!”³⁵. Однако благоразумный Рунич не спешил обнародовать свое “мнение”. Конечно, в поддержке цитированного им попечителя Казанского учебного округа Магницкого он мог быть уверен, но ведь были и другие члены Главного правления училищ, которые, в свою очередь, обязаны были представить свое мнение министру. Только через два месяца “мнение” Рунича поступило в учёный комитет и 4 сентября 1820 года было официально зарегистрировано, став, таким образом, документом. Два месяца велась консолидация самых темных сил в недрах министерства народного просвещения. Негласная дискуссия и подпольная борьба вокруг книги Куницына вышли за пределы голицынского министерства.

Отголоски этой борьбы и ее связь с готовившимся Магницким новым цензурным уставом мелькнули в ответном письме Евгения Болховитинова, в то время псковского архиепископа, В. Г. Анастасевичу, который жил в Петербурге и был в курсе столичных новостей. 30 июля 1820 года г. Болховитинов писал: “Самая цензура наша еще не уладит себя в своих правилах и после многих уже цензурных уставов видит недостаток в своих правилах. Увидим, каков-то будет новый устав. Если “Естественное Право” Куницына заставит внести в оный какие-нибудь новые цензурные предосторожности, то другие Куницыны выдумают другие уловки вывернуться из-под правил”³⁶. Заметим здесь, кстати, что умеренный в своих политических взглядах Болховитинов, как только вышла книга Куницына, познакомился с ней, но принять ее концепции не мог. Однако то, что было недоступно людям, притерпевшимся к русской действительности, дожилось на почти чистый лист мироощущения юных лицеистов.

За две недели до слушания “мнения” Д. П. Рунича и накануне событий в Семеновском полку, 16 октября 1820 года, при рас-

смотрении замечаний о проекте устава Гимназии высших наук князя Безбородко, было рекомендовано заменить право естественное и нравственную философию на историю философии “с тем условием, чтобы системы философские и теории о естественном праве не иначе, как в виде гипотез излагаемы были со всегдашним указанием на лживость источника, из коего они почерпнуты; или, что гораздо приличнее будет, науки сии совершенно исключить из числа учебных предметов гимназических, представляя преподавание оных одним университетом”³⁷.

Право естественное все-таки было взрывоопасным материалом в самодержавном государстве. И теперь, когда ветры начали ощутимо меняться, сей предмет оказался “в подозрении”, и подход к книге Куницына был уже в какой-то мере предопределен. Кажется, совсем недавно речь Александра I в польском сейме всколыхнула Россию, породив прекрасные мечты и надежды у либералов, страх у консерваторов, злобу у мракобесов. В прошлом, 1819 году, когда Куницын сдал в цензуру вторую часть “Права естественного”, Александр I, прочитав записку Н. И. Тургенева, предлагавшую ему освободить крестьян, высказался, что он “непременно сделает что-нибудь для крестьян”. А сейчас бушуют революции в Испании и Италии, а в самом Петербурге только и было разговоров о вчерашнем событии - бунте Семеновского полка.

Через две недели после волнений в Семеновском полку 30 октября собрался ученый комитет Главного правления училищ. Присутствовали опять двое - тайный советник граф И. С. Лаваль и действительный статский советник Д. П. Рунич.

Рассматривается мнение Рунича о том, что “книгу под названием “Право естественное” сочинения профессора Куницына по ее духу и учению признает он не только опасною, но и разрушительною в отношении к основаниям веры и достоверности Священного писания”. Пространный отзыв Рунича на книгу Куницына иногда называют доносом, но это, скорее, был набат, вопль “держи вора!”. Вот его характеристика книги: “Она есть не что иное, как сбор пагубных лжеумствований, которые, к несчастью, довольно известный Руссо ввел в моду и кои взволновали и еще волнуют горячие головы поборников прав человека и гражданина: ибо, сличив последствия сего философизма во Франции с наукою, г. Куницыным ныне изложенною, увидим только раскрытие ее и приложение к Гражданскому порядку. Марат был не что иное, как искренний и практический последователь сей науки”³⁸.

Мнение Рунича не осталось тайной. В написанном в 1822 году пушкинском “Послании к цензору” (его часто считают обращением к Бирукову, но справедливее, мне кажется, видеть в адресате

послания обобщенный образ цензора). есть прямое обращение к неназванному Руничу:

*Ты черным белое по прихоти зовешь;
Сатиру насквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом*³⁹.

Здесь следует иметь в виду, что имя Марата в те времена в России звучало олицетворением террора Революции, символом кровавадной жестокости. Так оно воспринималось Пушкиным, так же звучало и для французского эмигранта на русской службе Лавая, в доме которого совсем недавно, в прошлом, 1819 году Пушкин читал свою оду “Вольность”. Впрочем, недавнее прошлое быстро уходит в Лету. В 1819 году Пушкин мог себе позволить послать оду “Деревня” Александру I, который благодарил его за “добрые чувства”. В 1820 году император уже не благодарил Пушкина, а говорил, что “Пушкина надобно сослать в Сибирь”. Что же до Куницына, то он, списывая в свою тетрадь среди других стихов Пушкина “Послание цензору”, сделал очень характерную поправку. У Пушкина:

*Радищев, рабства враз, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? Их и так иные прочитали.*

В тетради же Куницына последняя строчка записана так:

*Что нужды? Нас и так иные прочитали*⁴⁰.

Но вернемся к Руничу, который заключал свой отзыв предложением изъять “Право естественное” из всех учебных заведений. В конце концов Рунич и запуганный им “уго́дник”, как его называл А. И. Тургенев, Лаваль пошли еще дальше: “Представить господину министру, что книга сия не только недостойна повергнутою быть на Высочайшее воззрение, но самая продажа и употребление оной признаются вредными и опасными, и посему необходимо следует ее воспретить”⁴¹.

Здесь хотелось бы остановиться на личности Д. П. Рунича. Деятельность его в качестве клеветы А. Н. Голицына и М. Л. Магницкого создали ему печальную славу реакционера и мракобеса в глазах современников и памяти потомства. Однако, как следует из записок Рунича, писанных много позже (он умер восьмидесяти

лет в 1860 году), автор их был отнюдь не невеждою и не глупым человеком. Образованным человеком с отличными способностями назвал его в своих записках декабрист В. И. Штейнгель. Записки Рунича, еще с молодых лет не чуждого литературе, представляют определенный интерес как свидетельство разумного и порой даже либерального человека. Их можно было бы назвать даже объективными, за исключением, правда, той части, которая касается лично мемуариста.

Так, не одобряет Рунич деятельность Магницкого в качестве попечителя Казанского университета, оставаясь, правда, высокого мнения о человеческих и педагогических качествах этого человека. Довольно резко отзывается Рунич и о русских министрах народного просвещения: “Ни Завадовский, первый министр, ни Разумовский, ни князь Голицын... не были способны управлять министерством... в стране, где народное образование не вышло еще из пеленок”⁴².

Зато перед Н. И. Новиковым Рунич преклонялся, считая его человеком “с пламенною душою и возвышенным духом”, а разгром типографской компании называет ошибкой Екатерины, уничтожившей “самое полезнейшее для общества и государства предприятие частных людей”⁴³.

Если вспомнить, что Новиков видел в религии и христианстве “надежнейшее средство быть добродетельным”, то казенное православие Рунича можно назвать тупиковой ветвью новиковского просветительства.

Весьма любопытно упоминание о Куницыне в мемуарах Рунича: “Куницын, сделавшись профессором, преподавал в университете и в Лицее естественное право и путал в умах своих безбородых слушателей все понятия о нравственности и религии”⁴⁴.

О своей роли в расправе с Куницыным Рунич умалчивает, но о лекциях Куницына пишет так: “Куницын... говорил, что природа не воспрещает матери выйти замуж за своего сына, или отцу жениться на дочери, что совершеннолетние дети ничем не обязаны своим родителям... и что всякая власть, не основанная на единомгласном желании всего общества, есть тиранство. Все эти прекрасные открытия преподавались публично в университетах и школах в христианской и монархической стране, в царствование набожного монарха и при министерстве, созданном для того, чтобы поддерживать религию и народное образование во всей их чистоте. Вполне закономерно, что “естественное Право” Куницына обратило внимание министра духовных дел и народного просвещения, и внимание самого императора”⁴⁵.

Но особенно интересна характеристика всего александровского царствования. Характеристика, в какой-то мере объясняющая

и поведение Рунича в деле Куницына и судьбу самого Куницына: “Изменчивость и непостоянство были главными двигателями всех действий в царствование Александра.. То, что было сделано в 1802 году, переделывалось в 1812 году! Принципы 1806 года не были уже принципами 1816 года. Одним словом, во всем было заметно колебание: одна система сменялась другою. Сегодня были философами, завтра - ханжами... Все зависело от двигателя, приводившего в ход машину. Во время министерства Кочубея, душою которого был Сперанский, преклонялись перед конституцией, во время фавора князя Голицына были ханжами, при Аракчееве были бесхарактерны, всегда рассчитывали только на сегодняшний день”⁴⁶.

Получив в марте 1819 года назначение в Петербург членом главного правления училищ, бывший московский почт-директор неплохо устроился в столице. 3000 рублей жалованья как чиновнику Министерства народного просвещения, плюс 3000 рублей сверх жалованья “в уважение его усердной службы”, да еще 5000 - одновременно на переезд. Обосновавшись в Петербурге, Рунич быстро сориентировался в столичной обстановке. Удивительно ли, что беспринципный карьерист, служивший по ведомству фаворита Голицына, учуяв ситуацию, безбоязненно обрушился на проповедуемые Куницыным идеи.

Наступило время ханжей, и Рунич так мотивирует необходимость изъятия книги Куницына: “Публичное преподавание наук по безбожным системам не может иметь место в благословенное царствование Благочестивейшего Государя, давшего торжественный перед лицом всего человечества обет управлять врученным ему от Бога народом по духу слова Божия”⁴⁷.

20 ноября 1820 года Лаваль и Рунич снова собираются на заседание ученого комитета. Обсуждается вопрос о “начертании методы” для преподавания естественного права, представленной приглашенным на заседание А. С. Стурдзою. (“Холоп венчанного солдата”, Стурдза “библический” - известный политический и религиозный писатель, секретарь главы Коллегии иностранных дел и почетного члена “Арзамаса” И. Каподистрии, снискал себе печальную славу после написанной им в 1818 году “Записки о настоящем положении Германии”, где он обрушивался на немецкие университеты). Книга Куницына была обречена, но от самого предмета естественного права отказаться еще было “неудобно”.

По проекту Стурдзы, уже понаторевшего во вразумлении немецких студентов, учебная книга о праве естественном должна была быть разделена на две части - “обличительную и изложительную”. В обличительную должны были войти доказательства

того, что право естественное “по принятому о нем понятию недостаточно к открытию всех общежительных правил и истин”⁴⁸. В изложительную часть в качестве основы должен был быть заложен тезис о том, что Семейство и Государство установлены “самим Богом, через посредство власти отеческой”⁴⁹. Как видим, право естественное можно было не только запретить, но и попробовать перелицевать с подгонкой по фигуре заказчика. Однако подобные манипуляции несколько коробили европейца Лавалю; между ним и Стурдзою разразилась довольно резкая полемика, отраженная в протоколе заседания. Но в конце концов комитет положил, что составленный по плану Стурдзы учебник права естественного “может быть удобным и полезным, буде преподавание сей науки признается нужным”⁵⁰.

К этому времени А. Н. Голицын был уже полностью в курсе энергичной деятельности Д. П. Рунича. В архиве последнего сохранилась записка министра от 23 ноября 1820 года. “Препровождаю к Вам, милостивый государь мой Дмитрий Павлович, четыре книги, принадлежащие Лодию Профессору; мне говорил об них Балугьянский и советовал взять их в соображение при рассмотрении о естественном праве. Я счел нужным, чтоб Ваше превосходительство об них взяли понятие и со мною после переговоров”⁵¹.

Таким образом, на этой стадии “рассмотрения” Голицын и Рунич уже действовали рука об руку. А вскоре, когда кончилось дело о “Праве естественном” и последовавшее за ним дело профессоров петербургского университета, Рунич уже стал другом и чуть ли не духовником министра народного просвещения и духовных дел. В архиве Рунича находится личная записка Голицына, адресованная “в собственные руки” Руничу, помеченная средой 8 марта, что соответствует 1822 году: “Я вас прошу в 10 часов сего утра ко мне, что бы мы могли до обедни кончить, а потом вы останетесь помолиться со мною”⁵².

Наконец 10 февраля 1821 года в одиннадцать утра под председательством министра Голицына началось заседание Главного правления училищ. Помимо министра присутствуют архиепископ Ярославский и Ростовский преосвященный Филарет (В. М. Дроздов), известный своими богословскими сочинениями, попечитель Московского учебного округа князь А. П. Оболенский, попечитель Казанского учебного округа, снискавший себе уже недвусмысленную репутацию М. А. Магницкий, автор первого (положительного) отзыва на книгу Куницына академик Н. И. Фусс, директор Департамента народного просвещения И. И. Мартынов, уже известные нам И. С. Лаваль, Д. П. Рунич и другие лица. Кроме

того, на заседание был приглашен один из ближайших сподвижников М. М. Сперанского М. А. Балугьянский, бывший в качестве ректора Санкт-Петербургского университета начальником А. П. Куницына.

В повестке дня всего один вопрос - дело "о книге "Право естественное" профессора Куницына, начавшееся по представлению директора Царскосельского Лицея, о поднесении экземпляра оной, как весьма достойной, Его Императорскому Величеству"⁵³.

После изложения мнения Рунича (о мнении Фусса на заседании не было сказано ни слова), приводится мнение Стурдзы о разделении права естественного на части обличительную и изложительную. При этом Лаваль высказался за то, чтобы право естественное все же преподавалось, но после гимназического курса, то есть для узкого круга "подготовленных" слушателей.

Затем был устроен буквально перекрестный допрос ректору университета М. А. Балугьянскому. Положение Балугьянского на этом судилище было чрезвычайно сложным. Не имея ни единомышленников, ни союзников, он должен был отстаивать своего ученика по Педагогическому институту, которого он в свое время рекомендовал к поездке в "чужие края", а по возвращении принимал у него экзамен, принесший Куницыну звание адъюнкт-профессора Царскосельского Лицея. Но на этом связи учителя и ученика не прерывались.

Одновременно с преподаванием в Лицее Куницын читал лекции в Педагогическом институте. В 1817 году профессор Лицея А. П. Куницын по ходатайству Балугьянского был определен в Главный педагогический институт ординарным профессором общих прав (с оставлением при прежних должностях по Лицею и благородному пансиону при Лицее). С преобразованием же Главного педагогического института в Санкт-Петербургский университет Куницын становится профессором университета. Любимых учеников у Балугьянского было немало, но с Куницыным он был и коллегой и, более того, единомышленником. Балугьянский доверял Куницыну чтение своих курсов. По наблюдению Е. М. Косачевской некоторые лекционные курсы Куницына во многом совпадают с лекциями Балугьянского⁵⁴. С другой стороны, Балугьянский понимал, что речь идет не только о Куницыне, и даже не о преподавании права естественного, но о будущем только что созданного Университета, о самом существовании его детища в качестве университета. В этих условиях под напором воинствующих ханжей и мракобесов он вынужден был признать, что "преподавание по книге профессора Куницына не по всем статьям удобно, так

как некоторые места в ней темно выражены, ...вообще же книга сия написана в духе тех немецких ученых, которые несколько излишне распространили учение о естественном праве”⁵⁵.

Министр духовных дел и просвещения ставит собранию два вопроса: о приемлемости самой книги и о необходимости преподавания естественного права. С каких позиций становились эти вопросы?

Это важно не столько для характеристики Голицына, сколько для понимания ответов вопрошаемых, которые, будучи чиновниками министерства, возможностью угодить министру и опасениями “не выйти за рамки” были озабочены больше, чем судьбой профессора Куницына и его книги.

Хотя тон обсуждения был уже задан Руничем и Стурдзою, сами вопросы вполне согласовывались с хорошо известными взглядами Голицына, высказанными им при учреждении Министерства духовных дел и народного просвещения. Будущий министр считал христианское благочестие основанием истинного просвещения. Если “христианское благочестие составлять будет основание в науках, а сие споспешествовать оному, - писал он во всеподданнейшем докладе 22 августа 1817 года, - то произойдут от того плоды вожденнейшие, кои могут более всего утвердить внутреннее благосостояние государства и устроить истинное блаженство многочисленных обитателей оного твердейшим образом”⁵⁶.

Надо отдать должное Голицыну, который последовательно взращивал “плоды вожденнейшие” на ниве народного просвещения. Так в 1819 году он ввел во всех учебных заведениях обязательное ежедневное чтение одной главы из Нового Завета, для чего учащиеся должны были собираться “за полчаса до определенного времени”. “Таковое спасительное чтение” поручалось ввести в Лицее и Энгельгардту.

Таким образом, несмотря на то что со времени доклада 1817 года прошло более трех лет, его формула за это время не только не поблекла, но, наоборот, приобрела новые, более мрачные тона, которые уже никак не совмещались с идеями французских просветителей и самим правом естественным.

Дискуссия по вопросам Голицына не состоялась. Она прошла еще до того, как он их поставил. Правильнее будет сказать, что министр поставил свои вопросы по материалам дискуссии.

Главное правление училищ определило относительно самой книги: “По принятым в сей книге за основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему явно истинам христианства и клонящимся к ниспровержению всех

связей семейственных и государственных, книгу сию, как недостойную, не подносить Государю и, как вредную, запретить повсюду преподавание по ней, а чтобы она и чрез продажу не была распространяема в употреблении, то представить министру... употребить к тому также средства, которые найдет нужным..."⁵⁷.

Что же до необходимости преподавать право естественное, собрание не было столь категоричным. Было решено: собрать из всех учебных заведений руководства, по которым читается право естественное и "вредные запретить". М. А. Балугьянскому было поручено составить программу для курса в духе предложений А. С. Стурдзы с опровержением "ложных и пагубных" положений и указанием источников истинного, согласного с волею Божией "учения об обязанностях человека к Богу, ко власти и к ближним своим"⁵⁸. Знаменательно, что Н. И. Фусс на этом заседании не произнес ни одного слова, достойного попасть в протокол. С мнением большинства не согласились Рунич и Магницкий, настаивавшие на запрещении "мнимой науки права естественного".

В последний момент произошло нечто неожиданное. Хотя, судя по протоколу, никаких нападок на самого Куницына не было (можно предположить, правда, что они произносились, но не были зафиксированы на бумаге), Голицын, видимо желая успокоить наиболее неистовых и сам поддавшись их настроению, заявил, что считает себя обязанным воспретить Куницыну преподавание во всех учебных заведениях своего ведомства, "что и не преминет исполнить особым о сем предписанием". Было четыре часа пополудни. Заседание продолжалось пять часов вместо обычных двух-трех: дело было необычным и сложным. Российское государство еще только начинало свой долгий путь борьбы с наукой, учеными, а заодно и с жизненными реалиями.

Это заседание осталось надолго в памяти его участников и получило большой резонанс в обществе. Почти через шесть лет, в ноябре 1826 года, А. И. Тургенев вспоминал: "Никогда не забуду вечера, который провели у меня, больного, Лаваль и Карамзин по окончании заседания глав<ого> учил<ищ> правления и прения о книге Куницына. Он увеличил и болезнь мою сильным негодованием к невеже-просветителю и спором с ним. Я просил Лавалья повторить Кар<амзин>у чтение его мнения о естес<твенном> праве, и Кар<амзин> разделил со мною мнение, что Лаваль смешал его с народным. На другой день узнал я источник Лавалевои ошибки: он прочел накануне франц<узскую> брошюру о правах, из Парижа ему присланную. И там уже... темнело на горизонте просвещения"⁵⁹.

Дело, однако, было не в ошибке Лавая, а в новом течении мысли высших сановников империи, именно в том “потемнении просвещения”, о котором упоминает Тургенев.

Подводя итоги заседания, можно сказать, что у большинства его участников само понятие права естественного, пустившее уже глубокие корни в просвещенной верхушке русского общества и на протяжении нескольких десятилетий преподававшееся в различных учебных заведениях, не вызывало сомнения. Но понимать право естественное можно было по-разному.

За сорок лет до описываемых событий Д. И. Фонвизин в “Рассуждениях о непреклонных государственных законах” вопрошал: “Какая же доверенность, какое почтение может быть к законам, не имеющим своего естественного свойства, то есть соображения с общею пользою?”⁶⁰.

В дни же обсуждения и осуждения книги Куницына Н. С. Мордвинов в мнении, поданном в Государственный Совет 20 февраля 1821 года, так оперировал понятием естественного права: “Жалуются на повсеместное в судах лихоимство; но можно ли искоренить его там, где существует житейский недостаток, и может ли преступление быть в том, что естественным правом оправдано быть должно и чего гражданские законы воспретить не в состоянии? Ибо и служителям правосудия, равно как и всякому другому человеку, пристанище, пища и одежда необходимо потребны, а получаемые ими от казны оклады жалованья недостаточны к доставлению им оных. Следовательно, что невозможно, того и ожидать не должно”⁶¹. Особо следует отметить, что знакомство с понятием “естественное право”, хотя бы в юридическом его аспекте, не было привилегией только высшего общества. Так, еще в 1797 году крестьяне одного из барских поместий Московской губернии писали в своей жалобе: “Божеский закон, естественное право и высочайшие повеления обязывают каждого иметь должное повиновение господам своим... а господа не инако должны поступать со своими подданными, как отцы с детьми”⁶².

Участникам же заседания было ближе всего будущее мнение будущего управляющего будущим III отделением Л. В. Дубельта, который, говоря уже о николаевской России, так выразил свое понимание права естественного: “Образ правления нашего самый настоящий, сходный с природою, сходный с потребностями человека благомыслящего”. И далее этот далеко не глупый сановник Николая I откровенно (заметки не предназначались для печати) формулировал: русский человек “не избалован вымышленною

свободой и ни с чем не сообразными правами человека”, и поэтому в России “мир, тишина, трудолюбие, подчиненность”.

Что же до просвещения, то по мнению Дубельта: “В нашей России должны ученые поступать как аптекари... и отпускать ученость только по рецептам правительства”; просвещение же должно “состоять в познании и исполнении своих обязанностей”⁵³. Такой знаток русской государственности XIX века, как Н. П. Ерешкин, считает эти взгляды Дубельта концентрированной, хотя и грубой формой выражения основного политического кредо феодально-крепостнического государства в России. Как видим, “идеи” одного из столпов николаевского режима вполне согласовывались с мыслями деятелей конца царствования Александра I и обнажают преемственность взглядов и тенденций обеих эпох.

Когда журнал заседания Главного правления училищ был представлен на подпись отсутствовавшему на нем попечителю Санкт-Петербургского учебного округа С. С. Уварову, тот, “будучи совершенно чужд всему производству дела о книге “Право естественное”, подал особое мнение”. Понимая невозможность отстоять книгу, он полностью соглашается с необходимостью бороться с учениями, противоречащими догматам церкви. Осуждая книгу, Уваров выражает пожелание, чтобы Главное правление училищ “пощадило сочинителя, и чтобы господин министр духовных дел и народного просвещения не лишил его возможности продолжать службу на пользу Отечества и наук”⁵⁴. Пожелание это, естественно, услышано не было, и для нас интересно прежде всего как документ, характеризующий его автора много раньше того времени, как он стал адресатом стихов Пушкина “На выздоровление Лукулла”.

Борьба президента Академии наук и попечителя Санкт-Петербургского учебного округа С. С. Уварова с попечителем Казанского учебного округа М. А. Магницким началась задолго до обсуждения книги Куницына. Еще в 1819 году Уваров резко выступил против чудовищного проекта Магницкого публично разрушить опекаемый последним Казанский университет. В 1820 году произошло не менее резкое их столкновение в связи с предложенным Уваровым весьма либеральным проектом устава Петербургского университета. Защита Уваровым Куницына, его книги и самого права естественного была продолжением этой борьбы, в которой Уваров занимал принципиальную и последовательную позицию. Если его заявление, что он был “совершенно чужд” делу о книге Куницына, еще можно рассматривать как желание обезопасить себя, - в качестве попечителя Петербургского

учебного округа он не обязан нести ответственность за книгу, изданную профессором Лицея, который находился в непосредственном подчинении министра народного просвещения, - то 26 марта он недвусмысленно писал Голицыну: "Что же до того, чтобы основать политическую экономию на Откровении (имеется в виду Священное писание. - М. А.), то я сию мысль не постигаю"⁶⁵. Деятельный член "Арзамаса" Уваров тут был одного мнения с арзамасцами А. И. Тургеневым и П. А. Вяземским. Д. П. Рунич впоследствии в своих мемуарах, говоря о деле петербургских профессоров, начало которому было положено рассмотрением книги Куницына, безоговорочно считает Уварова покровителем "развратных" профессоров.

Действительно, поведение Уварова в деле Куницына во многом напоминает и даже предвещает его линию в 1849 году, когда он, будучи министром, решительно выступил в защиту директора педагогического института И. И. Давыдова, поместившего в "Современнике" Некрасова отнюдь не крамольную статью "О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании". Статья привлекла особое внимание публики в связи с распространившимися слухами о предстоящем закрытии университетов. В ответ на обвинения Бутурлинского комитета, увидевшего в статье "неуместное для частного лица вмешательство в дело правительства", Уваров представил Николаю I обширный доклад, в котором писал, что если кто-либо должен нести ответственность за статью, "то эта ответственность по совести и по закону должна единственно пасть на меня". И ответственность действительно легла на него. В том же 1849 году он вынужден был покинуть пост министра просвещения, подобно тому как в 1821 году ушел с поста попечителя Петербургского учебного округа. Исход борьбы был предreshен. "Беспорядки" в Благородном пансионе при Петербургском университете, происшедшие в это же время в связи с увольнением В. К. Кюхельбекера, еще более укрепили влияние Магницкого и Рунича на министра, и вскоре Уваров был отстранен от должности попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. Его место занял Рунич.

Небезынтересно и особое мнение Магницкого, которое было опубликовано только в 1864 году. Магницкий считал необходимым "приостановить во всех наших университетах преподавание естественного права, доколе... составится наука сия не на правилах разрушительных, но согласных с учением Евангельским"⁶⁶. Далее, отмечая, что без естественного права обходился "королевский", республиканский и императорский Рим, до недавних (революцион-

ных) времен - Франция и по сей день - все университеты Англии и Италии, он называет естественное право "изобретением неверия новейших времен", которое стало "полною системою всего того, что мы видели в революции французской". Следствием этих "новаций" Магницкий и считал казавшееся ему парадоксальным положение: "Константинополь покоен, в Париже и Лондоне жалуются на тиранство"⁵⁷. Надо признать, что здесь переметнувшийся в стан охранителей самодержавной косности бывший сподвижник Сперанского (скоро Магницкий предаст и Голицына ради Аракчеева), идя вслед за критиком устава Лицея Жозефом до Местром, был не очень оригинален, но достаточно последователен. А. В. Никитенко в своих дневниках дважды, в 1836 и 1849 годах, с иронией вспоминает, что, по мнению Магницкого, книга Куницына вызвала вскоре после своего выхода революции в Неаполе, Мадриде, Турине и Лиссабоне. Однако нам представляется, что Магницкий был прав, видя в идеях права естественного угрозу всякому, в том числе и русскому, самовластию. Недаром декабристы Н. А. Бестужев, А. Н. Сутгоф и В. Ф. Раевский ссылались на Куницына как на источник своего свободомыслия. Что же до опасений Магницкого, то они пережили и его самого и его оппонентов, неоднократно оживая на крутых поворотах русской истории. Так, 40 лет спустя в другое царствование и в другие времена, в 1861 году Главное управление цензуры циркулярно опасалось, что "при настоящем взволнованном положении умов в европейских государствах должно признать вредным распространение сочинений, в которых выставляются яркие описания революций, необходимых будто бы для оживления организма государства, читатель легко может применить к положению своей страны те действительные или мнимые недостатки управления, которые вызвали в других странах события, описанные с желанием сделать из них факты всеобщего значения"⁵⁸.

Мысль о том, что "державная власть" получает свое начало от народа, несовместима с идеей самодержавия. Дело не в широте или узости взглядов какого-либо исторического лица. Вопрос глуже.

Как отмечал Б. С. Мейлах в исследовании, посвященном эпохе Пушкина, "учение о "Естественном праве" с его идеей народного суверенитета было предметом ожесточенной политической борьбы"⁵⁹. Более чем верноподанные взгляды Магницкого нашли свое выражение в "чугунном" цензурном уставе, утвержденном уже при Николае I в 1826 году. В основу этого устава легли разработки, которые велись под руководством Магницкого с середины 1820

года. Статья 190-я этого устава предписывала, дабы “всякая вредная теория, таковая, как, например, о первобытном зверском состоянии человека, будто бы естественном, о мнимом составлении первобытных гражданских обществ посредством договоров, о происхождении законной власти не от бога, и тому подобное, отнюдь не должно быть одобряемо к напечатанию”⁷⁰. Появление этой статьи является вполне логичным административным воплощением “научных” взглядов мракобесов при обсуждении книги Куницына. Без преувеличения можно сказать, что николаевское тесто взросло на александровских дрожжах.

Но все эти обобщения в будущем. А пока что “дело” двигалось. Двигалось весьма быстро и сразу в двух направлениях: и книга и ее автор изымались из системы Министерства народного просвещения.

Неизвестность документов и отсутствие основательных свидетельств современников породили немало легенд и вымыслов об истории запрещения “Права естественного”. Даже такой авторитетный источник, как подготовленный ГБЛ им. Ленина “Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века” (Москва, 1981), говорит: “...экз. обеих книг, изъятые из продажи, отобранные у б-к и частных лиц, были сожжены”. При этом запрещенные приписывается не Главному правлению училищ, а его ученому комитету, а в качестве основания приводится относящееся к концу XIX века сообщение историка и публициста А. М. Скабичевского. Однако документы подробно рисуют несколько иную картину.

Прошло шесть дней после заседания Главного правления училищ, где было решено запретить книгу и уволить ее автора. 16 февраля 1821 года министр Голицын официально извещает об этом попечителя Уварова и “покорнейше просит” его “сделать распоряжение дабы, соответственно объявлению, учиненному Вам профессором Куницыным о числе отданных им книгопродавцам экземпляров, остальные за тем экземпляры, которые непременно по сему должны оставаться у него, отобраны и представлены были мне немедленно все без исключения”⁷¹.

Уже 19 февраля Уваров препровождает Голицыну экземпляры, отобранные у Куницына, и его объяснение. Куницын “объяснял”, что всего каждой части “Права” отпечатано по 1000 экземпляров, из которых 500 было отдано Лицею и Благородному пансиону при нем. Далее, не поясняя конкретно о других каналах, по которым расходилась книга Куницына, писал: “За прочим расходом осталось у меня: 1-й части 156 экз. без переплета, 41 в

синей бумаге, 5 в разном переплете; 2-й части 224 без переплета, 5 в синей бумаге. Обеих частей в синей бумаге 33. Всего: 1-й части - 234 экз., 2-й части - 265 экз. Книгопродавцам уступил я только 75 экз. 1-й части и 55 2-й. Впрочем, я не премину осведомиться, остается ли у них сколько-нибудь экземпляров книг или нет. В первом случае постараюсь склонить их уступить мне оные обратно.

1821 года февраля 19 дня. Профессор Александр Куницын⁷².

В отличие от своих коллег по Лицею Кайданова, де Будри и, особенно, Кошанского, тщательно готовивших и оформлявших свои письма в вышестоящие инстанции, Куницын не обладал канцелярским прилежанием и писарским почтением; но это объяснение, хранящееся в делах Главного правления училищ, поражает своим неаккуратным видом и производит впечатление черновика. Однако, видимо, в этот момент было не до формы. Объяснение было принято, и ему был дан дальнейший ход. Но небрежным в нем было не только оформление. Приведенный в объяснении счет экземпляров не сходился с итогом. По счету должно было быть первой части 235 экземпляров, второй части - 262. Куницын же показал их 234 и 265. Кроме того, когда вскрыли пачки книг, число их не сошлось с расчетом Куницына. Книг оказалось 226 экземпляров первой части и 254 - второй. Но особенно темным местом было куницынское "за прочим расходом". Начались дополнительные поиски. Так, были опрошены владелец и работник типографии, причем они дали "двойной отзыв": "Работник отвечал, что книги сей напечатано 1200 экземпляров обеих частей, но хозяин после уверял, что напечатано только по 1000 экземпляров обеих частей"⁷³. Имеется в деле и записка без даты и подписи, где у книгопродавцев Петра, Матвея и Ивана Глазуновых и Сленина показано 139 экземпляров книги.

В результате Куницыну пришлось писать новый рапорт на имя ректора университета М. А. Балугьянского: "В прежнем рапорте моем показано было число экземпляров книги моей, уступленных Царскосельскому Лицею, также означен отпуск оных книгопродавцам, поколику начальство о сем последнем обстоятельстве именно требовало сведения. Далее сказано было, что за прочими расходами остальные экземпляры обеих частей препровождаются.

Начальство требует ныне подробного отчета о расходе книги моей, то, представляя оный Вашему превосходительству, за нужное почитаю изъяснить, что первая часть поступила в расход в начале 1818 года, а вторая... - в первых месяцах 1820 года. Той и другой части со времени отпечатания сделаны следующие отпуски:

	Часть I	Часть II
I. В Цензурный комитет экземпляры	6	6
II. В Императорский Царскосельский Лицей и состоящий при оном Благородный пансион	500	500
III. В Санкт-Петербургский университет	51	51
IV. В Благородный пансион университета	75	75
V. Книгопродавцу Сленину 1818 г.	30	-
1820 г.	-	10
VI. Книгопродавцу Ивану Глазунову променяно им книги в разные времена обеих частей	45	45
VII. Представлено господину попечителю Санкт-Петербургского округа для препровождения к его сиятельству господину министру духовных дел и народного просвещения	226	254
	<hr/>	
Итого:	933	941

Из сего явствует, что к полному числу, то есть 1000 экземпляров, недостает только первой части 67, а второй - 59 экземпляров, которые мною самим частично подарены, частично проданы разным лицам. Исполнив обряд для печатания книг, законами установленный и чист будучи в моей совести, я не удерживался в расходе моего сочинения. Что касается до противоречия в первых моих рапортах, то я не знаю, в чем оно состоит. Прежний письменный рапорт я представил начальству в оригинале, и копии с него не оставил. Впрочем, я полагаю, что разность в показаниях моих малозначительна. Смущение духа, в каковое привело меня несчастье, могло быть причиною таковой погрешности"⁷⁴.

Этот рапорт, помеченный 14 марта 1821 года, дает достаточно точную и полную картину распространения "Права естественного" и принципиально действительно не расходится с предыдущим рапортом. Как видим, книга среди частных лиц расходилась не быстро. Сленин, заказавший в 1818 году 30 экземпляров первой части, в 1820 году заказал всего 10 книг второй части и обходился этим количеством около года. Если бы не покупки Лицеем и университетом, автору-издателю было бы весьма сложно оправдать даже издержки печатания. Тем более что экземпляры, распространяемые лично автором, вероятно, в основном им раздавались. Обращает здесь на себя внимание и п. VI рапорта, из которого можно сделать вывод о значительных книжных приобретениях самого Куницына в лавке Ивана Глазунова.

Вслед за этим рапортом в деле Главного правления училищ хранится еще один любопытный, но, к сожалению, недатированный документ: “Г. г. члены Главного правления училища граф Иван Степанович Лаваль, Михайло Леонтьевич Магницкий и Дмитрий Павлович Рунич просят о доставлении им по экземпляру книги “Право естественное” соч. г. Куницына, первый и последний для сравнения с другими сего рода сочинениями, которые рассматриваются в ученом комитете, а М. А. Магницкий - для составления программ о сей науке”⁷⁵.

Надо заметить, что все трое “просителей” отнюдь не были темными невежественными людьми. Все они были неплохо образованы. Лаваль был близок к высшим сферам русской интеллигенции, его библиотека в Петербургском доме на Английской набережной занимала большой зал. Магницкий в молодости писал недурные стихи, был автором слов популярной, ставшей народной, песни, Рунич занимался литературными переводами. Так что вдруг проснувшийся у всех троих библиофильский интерес к погубленной ими книге не должен удивлять, образование позволяло им быть и знатоками и ценителями. Удивление может вызвать скорее тот факт, что у них не было книги, на которую они ополчились, тем более что через 5 лет, в 1826 году, возникло целое дело о возврате Лавалем материалов, “принадлежащих к делу о рассмотрении руководств, употребляемых для преподавания естественного права во всех университетах, и о составлении программ для сочинения учебной книги о сем предмете”⁷⁶. Скорее всего, на правах высших чиновников министерства все трое хотели получить по экземпляру книги, становившейся их старанием редкой. Однако они опоздали. На том же листе внизу имеется резолюция: “Его сиятельство приказал... объявить... что книга сия вся уничтожена и в департаменте экземпляров боле нет”. Если датировать этот документ по соседствующим, то он должен быть отнесен к марту 1821 года. В таком случае, как увидим впоследствии, министр обманул своих верных сподвижников. Сделал он это, по всей вероятности, не столько из-за недоверия к ним, сколько из желания возможно более полно изъять крамольную книгу.

Что же было изъято?

Помимо книг, оставшихся у Куницына на руках, обратились к двум находившимся в ведении министерства хранителям книги - Царскосельскому Лицею и Петербургскому университету.

19 февраля 1821 года министр Голицын особым предписанием потребовал от непосредственно ему подчиненного Энгельгардта немедленно произвести возврат всех экземпляров “Права”, как

взятых в уплату выданной Куницыну тысячи рублей, “так и иным образом в Лицей и пансион полученных”. “Во исполнение сего предписания, - грустно пишет дисциплинированный Энгельгардт директору лицейского пансиона Гауеншильду 20 февраля, - я покорно прошу Вас, милостивый государь мой, все имеющиеся в Благородном пансионе экземпляры помянутого сочинения, как для классов воспитанников отпущенные, так и в библиотеку поступившие, приказать сколь возможно поспешнее отобрать и доставить в правление Лицея для представления их завтрашний день Его Сиятельству”⁷⁷.

22 февраля Конференция Лицея заслушивает копию направленного непосредственно в хозяйственное правление предписания министра о том, чтобы книги “взятые правлением в уплату выданных Куницыну в 1816 году заимообразно тысячи рублей и иным способом в Лицей и пансион полученные, доставлены бы были без медления”⁷⁸. На заседании Конференции было “положено”: “Донести Его Сиятельству, что из взятых у профессора Куницына 500 экземпляров книги сочинения его “Естественное право”, роздано конференцию 1-й части сей книги воспитанникам Лицея одного курса, уже выпущенным, 25 экземпляров и воспитанникам пансиона двух курсов, также выпущенным, уже 25, а всего 50 экземпляров. 2-й же части сей книги выдано воспитанникам пансиона 20 экземпляров, из них 13 ныне у них и отобраны, а остальные 7 остались у выбывших из пансиона воспитанников. За сим налицо оказалось 1-й части 423 экз., а 2-й части 491 экземпляр. Посему не оказалось: 1-й части 27, а 2-й части 9 экземпляров; из сих 9 экземпляров 7, как замечено выше, остались у выбывших из пансиона воспитанников, а 2, равно как и 27 экземпляров 1-й части, не отыскались”. Конференция далее высказывает предположение, что экземпляры, которые “не отыскались”, “смешались с другими книгами” при пожаре Лицея, и заверяет, что “не преминет доставить Их Сиятельству”⁷⁹. Действительно, через 10 дней, 4 марта Энгельгардт известил Конференцию, что найден еще один экземпляр первой части “Права” для отсылки министру. А пока что министру отправляются все найденные экземпляры книги из числа полученных от Куницына вместе с экземпляром книги, переданным в библиотеку Лицея из Департамента народного просвещения, как это делалось обычно со всеми вновь вышедшими книгами, представлявшими интерес для Лицея. Как видим, в начале 1821 года большинство книг ожидало еще своего часа.

Опомнившись от неожиданности, Энгельгардт 17 марта 1821 года запрашивает: как быть с деньгами, заплаченными за книгу, - “из прихода исключить, или же деньги сии будут возвращены Лицею

и пансиону?»⁵⁰ Общая стоимость изъятых книг исчислена в 801 руб. 60 коп., включая затраты на переплет. В ответ Голицын приказал эти деньги «считать в расходе», т. е. стоимость конфискованных книг была принята на казенный счет.

Говоря же о подсчете находившихся в Лицее экземпляров книги, необходимо отметить, что Конференция, как о само собой разумеющемся факте, говорит о невозможности возвратить 57 экземпляров книги, полученных выбывшими воспитанниками. Что же до министра, то он также не пытался разыскать эти ушедшие за пределы Лицея и министерства книги.

Получив из Лицея изъятые экземпляры книги Куницына, Голицын 5 марта вновь пишет «Господину директору Императорского Царскосельского Лицея»: «Усматривая.. из донесения конференции Лицея от 19-го минувшего февраля, что Лицеєм приобретено от Куницына и приведено в употребление между воспитанниками Лицея и пансиона столь значительное число экземпляров сей книги, не могу и оставить без замечания, что начальство Лицея, имея главнейшею обязанностью своею наблюдать, дабы образование воспитанников сего знаменитого заведения основано было на истинном Христианском благочестии, допустимо в Лицее и пансионе употребление книги, содержащей учение, основанное на началах столь вредных и способствующих к поселению в сердцах неопытных юношей духа неповиновения, своеволия и вольнодумства, а начальству Лицея и пансиона следовало бы обратить свое внимание на таковое преподавание уроков, которое столь долго продолжалось, и мне представить»⁵¹.

Б. Емельянов и Н. Цыпина в статье, посвященной лицейским книгам, хранящимся в библиотеке Уральского университета, сообщают, что там имеются две части «Права естественного». Однако в свете вышеизложенного их предположение о том, что к спасению книг причастен Е. А. Энгельгардт, маловероятно»⁵². Скорее всего, книги поступили в Лицей после 1826 года, когда «дело» о «Праве естественном» было прекращено, и запрет с уцелевших книг был снят.

Что же до отмеченного М. И. Ахуном экземпляра «Права» в офицерской библиотеке Семеновского полка, показанного в каталоге 1881 года, то он, по всей вероятности, сохранился с 1818-1820 годов⁵³. Сохранился не потому, что граф Аракчеев, возглавлявший специальную комиссию, выработавшую в 1824 году «коренные и неизменные» правила для офицерских библиотек, был либеральнее князя Голицына. Дело в том, что военное министерство, в ведомстве которого находились полковые библиотеки, часто было

не в курсе всех деяний другого министерства, а иногда по соображениям амбиции поступало наперекор людям Голицына, которые не известили их официального об изъятии “Права”. Наглядный пример такого конфуза бюрократии произошел в 1822 году при передаче Лицея из ведомства Министерства народного просвещения и духовных дел в военное ведомство.

22 марта 1822 года, через год после изгнания Куницына из министерства Голицына и через два месяца после того, как министр в докладной записке с чувством исполненного долга сообщил императору, что профессор Куницын удален им от “должности и звания”, на имя Голицына пришло отношение.

Главный директор Пажеского и Кадетских корпусов граф П. П. Коновницын поручал “начальнику учебного отделения 7-го класса Куницыну принять из Департамента народного просвещения все имеющиеся в оном бумаги и дела, принадлежащие до Императорского Царскосельского Лицея”⁸⁴. (В эту должность Куницын был определен еще в сентябре 1820 года.) Щекотливое положение, однако, было улажено, и Куницына заменили старшим адъютантом Коновницына майором Кирпичевым. Бумаги же, касающиеся изъятия “Права” из Лицея, при передаче последнего в военное ведомство, остались в Министерстве просвещения.

Одновременно с Лицеем изымалась книга Куницына и из Петербургского университета и Благородного пансиона при нем, куда, включая подаренный автором экземпляр, попало 126 книг.

Общие итоги изъятия книги были подведены в справке, представленной министру в апреле: всего в Департамент народного просвещения из Лицея, университета и от автора поступило вместе с книгой, предназначенной для поднесения императору, 740 экземпляров первой части и 846 - второй. Эти книги подлежали уничтожению. Затеряно в университете и Лицее, включая книги, увезенные выбывшими студентами и воспитанниками, 114 экземпляров первой части и 35 - второй (сгоревшими при пожаре в Лицее или затерянными были сочтены 27 экземпляров 1-й части и 2 - второй). Таким образом, за максимально возможное количество книг, сохранившееся на свободе, можно принять 233 экземпляра первой части и 252 - второй. Из этого числа 5 экземпляров первой и второй частей при выходе в свет было сдано в цензуру. Кроме того, 75 экземпляров первой части и 55 второй было продано автором книгопродавцам Сленину и Глазунову. Эти книги ушли из сферы Министерства просвещения и не разыскивались им. Всего по справке учтено 934 экз. первой части и 941 - второй. В соответствии с объяснениями Куницына недостающие до тысячи

экземпляры были сочтены лично проданными и подаренными автором. Характерно, что ни Голицын, ни другие чиновники министерства, скрупулезно проверявшие счет изъятых книг, не попытались выявить владельцев “Права”, купивших книгу, получивших ее в подарок или хотя бы увезших ее с собой по выбытии из университета, Лицея и пансионов при них. Последнее, вероятно, не представляло большого труда. Но попытка изъять книги у частных лиц привела бы к нежелательной огласке и была выше компетенции Министерства просвещения. Здесь должно было потребоваться “Высочайшее повеление”. Прибегать же к помощи других министерств, тем более к самому императору, Голицын явно не хотел. Так же не захотел предъявлять денежные претензии к автору, продавшему учреждениям его министерства вредную книгу.

Какова была судьба этих книг?

Получив эту записку, министр “приказал принять сие к сведению, и о хранении полученных экземпляров доложить особо”⁵⁵. Запись об этой резолюции на первой странице копии справки, оставшейся в Департаменте народного просвещения, помечена 20 апреля 1821 года. Следовательно, к этому времени конфискованные книги еще существовали, и судьба их еще была неясна. Сведений о дальнейшей судьбе книги в этом деле нет. Не удалось найти документов об уничтожении книги ни в других делах Департамента народного просвещения, ни в архивах иных подразделений министерства. Правда, огромный фонд министерства (только по Департаменту народного просвещения более 100 000 дел) исключает сплошной просмотр материала. Скорее всего, книги так и не были казнены. Ведь Голицын понимал, что одно дело отстранить подчиненного ему профессора от службы и изъять подозрительную книгу, и совсем другое - уничтожить собственность дворянина. На это полномочий министра не хватало. А вскоре министр сменился, и об арестованных книгах потихоньку забыли. Маловероятным представляется предположение, что книги со временем были возвращены автору или его наследникам⁵⁶. Такое событие оставило бы след в архивах или в памяти современников, так как ему предшествовали бы длительные хлопоты и обширная переписка. Скорее всего, книги мирно истлевали в казенных подвалах, откуда при случае растаскивались на обертку, а иногда и на продажу любителям. Но не исключено, что где-то все же еще лежит переписка о том, как книга Куницына вышла на свободу, тем более что прецеденты были.

Характерно, что, отсутствуя в книгопродавческих росписях 1823-1827 годов, “Право естественное” появляется в “Росписи

российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина” 1828 года (цензурное разрешение от 9 августа 1827 года), где она, как редкая, имеет залоговую цену 50 руб. за обе части. Особого внимания заслуживает тот факт, что вслед за книгой Куницына под подозрением оказались и другие сочинения, посвященные праву естественному. Так, в том же феврале 1821 года ретивый попечитель Казанского учебного округа Магницкий приказал “приостановить употребление” сочинения профессора Казанского университета Финке “Естественное, частное, публичное и народное право”, а один экземпляр книги выслать ему в Петербург, где он столь рьяно пекся о просвещении Казанского учебного округа и всего остального государства. Когда в 1828 году опекун детей покойного Финке потребовал возвращения взятых под секвестр книг, тот же Лаваль вынужден был признать: “Что же касается... о том, имеют ли наследники профессора Финке право требовать удовлетворения за секвестированные сочинения их отца, то после одобрения оного Цензурным комитетом трудно будет оспаривать у них сие право”³⁷. Куницын же за семь лет до того безропотно отдал находившиеся у него экземпляры своей книги, и словом не упомянув о каком бы то ни было возмещении. Другой министр, другой цензурный устав, другое царствование, да и сам Лаваль уже немного другой. Теперь он служит не божественному Провидению, а высшим соображениям и закону. А высшие соображения диктовали новый порядок в старом деле уничтожения книг. Судьба книги Куницына не стала безусловным прецедентом для уничтожения книг в царствование Николая I. Это был уже новый этап “невежества гражданского и политического”, как называл российскую правительственную систему П. А. Вяземский.

Вообще же резонанс от дела Куницына был немалый. Среди пострадавших оказались не только сам Куницын, профессора Петербургского университета, упоминавшийся уже профессор Финке и другие. Задетым оказался и сам Магницкий. Издание переведенных им и подготовленных к печати “Наставления в Священной истории и Догматах веры”, а также “Исторический Катехизис”, “совершенно согласенных с учением церкви нашей”, не состоялось. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха, которые царили в Министерстве духовных дел и народного просвещения, книги застряли между духовной и светской цензурой, и света так и не увидели³⁸. Гонения распространились даже на употреблявшуюся почти 40 лет и подготовленную с личным участием Екатерины II книгу “О должностях человека и гражданина”.

Но вернемся к автору злосчастной книги. 7 марта 1821 года Конференция Петербургского университета рассмотрела “предложение” попечителя Санкт-Петербургского учебного округа от 5 марта на имя ректора (Уваров написал свое особое мнение 23 февраля и имел смелость на несколько дней задержать свое “предложение” ректору). Препровождая г. ректору “копию отношения к нему министра духовных дел и народного просвещения от 2 сего марта N 674” Уваров просит “...немедленно предложить Конференции университета об увольнении г. ординарного профессора Куницына”⁵⁹. В более чем полном соответствии с “предложением” попечителя Куницын был уволен задним числом. Решением Конференции университета от 7 марта он был уволен с 5 марта, то есть со дня выхода “предложения” попечителя учебного округа “с прекращением выдачи жалованья и квартирных денег”. А в формулярном списке Куницына, составленном в 1839 году, незадолго до его смерти, увольнение из университета показано даже вторым марта 1821 года. В эти же дни его увольняют и из Лицея. Как справедливо отмечал недолюбливавший, но уважавший Куницына Е. А. Энгельгардт, столь крутые меры были приняты несмотря на то, что в свое время книгу напечатали по приказанию министра и с ведома цензуры. Повторялась история, происшедшая с одним из авторов Великой французской энциклопедии. В 1751 году аббат де Прад защитил в Сорбонне диссертацию на сугубо теологическую тему об основаниях веры в чудеса. Теологи Сорбонны не нашли в диссертации ничего предосудительного и одобрили ее. Когда же иезуиты выяснили, что де Прад один из авторов энциклопедии, первый том которой вышел в это время, они заново рассмотрели его сочинение, нашли в нем десять еретических положений, добились сожжения книги и запрещения (оно оказалось весьма недолговечным) вышедших томов энциклопедии. Сам де Прад был вынужден бежать из Франции в Голландию. Как видим, действия Рунича и Магницкого имели солидный и освященный временем прецедент, так же, впрочем, как и реакция Энгельгардта, который был далеко не единственным человеком, возмущенным судилищем над книгой и ее автором. В 1826 году А. И. Тургенев, бывший в 1821 году директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий Голицынского министерства, вспоминал, как вечером после заседания главного правления училищ у него в гостях были Карамзин и Лаваль, и последний услышал от них “жестokie истины и с тех пор долго не советовался со мною”. Из дневника Н. И. Тургенева известно, что Куницын подготовил справедливое письмо, написанное “плохо, неискусно, но благородно”. Однако всякое оправдание

могло лишь ухудшить его положение, и, видимо, не без совета братьев Тургеневых, Куницын решил его не отсылать.

19 апреля 1821 года Конференция Лицея слушает официальное предписание за № 675 министра, “дабы немедленно прекращено было преподавание права естественного в Царскосельском Лицее и состоящем при нем пансионе по принятым началам в означенной книге”⁹⁰. Этим же предписанием Конференция обязывается предоставить экземпляр печатного или письменного руководства, по которому будет преподаваться скомпрометированная наука. Энгельгардта эти указания врасплох не застали; во всеоружии принятых мер он отвечает министру: узнав, что “Право” подвержено было рассмотрению в Главном правлении училищ, он... счел за удобнейшее до решения о том отложить... преподавание естественного права... и вместо того начать науку о финансах”⁹¹. Более того, осторожный директор сообщал министру, что новый профессор нравственно-политических наук Врангель еще “не избрал себе для преподавания никаких из существующих по сей науке компендий, а будет ожидать дальнейших о том предложений или издания нового Компендиума”⁹².

Так право естественное временно оказалось за бортом лицейской учебной программы. Преподавание его было возобновлено только в 1822 году Е. В. Врангелем, изгнанным в 1819 году из Казанского университета все тем же Магницким.

Что касается самого Куницына, то, как ни странно, в отличие от других профессоров университета, карьера его почти не пострадала⁹³. По увольнении из университета Куницын был причислен к 5-му отделению Канцелярии министра финансов и ровно через год пожалован в коллежские советники. Дальнейшая его служба проходила в основном по II отделению собственной Е. И. В. канцелярии, которое занималось кодификацией российских законов под руководством М. М. Сперанского и М. А. Балугьянского, а также в военных учебных заведениях. По Министерству народного просвещения Куницын более уже никогда не служил. Из его формулярного списка видно, что в 1829 году он был пожалован бриллиантовым перстнем за труды “при образовании студентов правоведения, состоящих в ведомстве II отделения”⁹⁴, а в 1831 году получил “Высочайшее благоволение за труды при образовании вновь поступивших для изучения юридических наук

* Компендий, компендиум (*лат.*) - сокращенное изложение основных положений какой-либо науки, исследования.

студентов³⁵. В 1838 году Куницына избрали почетным членом Петербургского университета, откуда он в 1821 году был так поспешно изгнан.

Параллельно с государственной службой все эти годы Куницын служил у графов Строгановых по управлению их обширными имениями, выполняя различные поручения, в основном юридического характера. Эта практическая деятельность Куницына, юриста и законодателя, его роль в составлении нормативно-юридических актов по управлению строгановскими крестьянами освещены А. Г. Никитиным в уже цитировавшейся его книге “Секретная рукопись Пушкина”. Значение этой “практики”, продолжавшейся свыше двадцати лет, до самой смерти Куницына, переоценить трудно. Сам факт попытки создать стройную систему законодательных актов для жизни помещичьих крестьян внутри крепостного государства чрезвычайно интересен. Для характеристики этой системы достаточно сказать, что она предусматривала “увольнение дворовых людей за выслугу лет” без выкупа. К сожалению, по сообщению А. Г. Никитина, пермские архивы Строгановых сохранились весьма неполно. Печатаение же уставов отдельных поместий и других документов касательно управления помещичьими имениями было категорически запрещено и Строгановым этот запрет преодолеть или обойти не удалось. 24 августа 1820 года заменявший временно отсутствовавшего Уварова Н. Фусс доносит министру духовных дел и народного просвещения, что в Петербургский цензурный комитет поступили три рукописи, “составленные графиней Строгановой для ее поместий пермских”. В рапорте Фусса приводятся их названия: “Положение для третейского суда”, “Постановление о словесном суде”, “Положение для судебных расправ”. По этому вопросу завязалась переписка между Министерством просвещения и Министерством юстиции, с которым было решено проконсультироваться. Вопрос был вынесен на обсуждение Комитета министров, который в свою очередь представил свое решение на одобрение императора. Решение же было таким: “Печатаение помещичьих уставов, непосредственно до управления крестьянами относящихся... запретить”³⁶. Это решение и было 8 февраля 1821 года доведено до Петербургского цензурного комитета, с тем, однако, чтобы о запрещении нигде не печатать, а известить конфиденциально только цензоров. Видимо, здесь речь идет о юридических актах регионального характера, подготовленных Куницыным, которые были сочтены “неудобными”. Так Куницын в одно время дважды столкнулся с оригинальной практикой применения русских законов в русской жизни. Урок ему был

преподан убедительный и недвусмысленный. Что же до полного текста этих законоположений, то остается надеяться на находки архивов других имений Строгановых или их родовой архивный фонд, да и пермскую находку А. Г. Никитина нельзя считать полностью изученной.

27 апреля 1840 года, за три месяца до смерти, кавалер ордена Станислава 1-й степени, Анны 2-й степени, Владимира 3-й степени действительный статский советник (генерал-майор) А. П. Куницын был назначен директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий. Умер Куницын 1 августа 1840 года. После 1821 года он не опубликовал ни одной книги. Однако его вдова с помощью М. А. Балугьянского издала тиражом 600 экземпляров “Изображение древнего судопроизводства в России”. Рукопись этой книги, являвшейся частью большого задуманного Куницыным сочинения, прошла цензуру еще в июне 1825 года, однако в то время по каким-то причинам напечатана не была. Через 18 лет, в 1843 году, книга была напечатана, причем позвольтельный билет на нее был выдан на основании цензурного разрешения 1825 года⁹⁷. Известны и более поздние (вскоре после 1848 года) переговоры между В. Ф. Одоевским и мужем сестры жены Куницына Павлом Копытским об издании оставшихся произведений Куницына⁹⁸. Копытский предлагал издать книгу Куницына, посвященную истории русских государственных доходов со времен князя Рюрика, но это издание не состоялось. Таковы факты, относящиеся к истории издания книг А. П. Куницына.

Однако книговедение, являясь отраслью истории, вправе иметь дело не только с накоплением фактов. Итак, попробуем осмыслить изложенные события и с их помощью сделать выводы не только относительно истории книг Куницына, но и более широкие. Сложное и противоречивое царствование Александра I получало противоречивые оценки у историков различных направлений и эпох. Но все они сходятся в констатации эволюции от либерализма и вольномыслия к реакции и обскурантизму. Однако начало и ход эволюции историки и мемуаристы относят к разным годам и связывают с разными событиями. Ссылка М. М. Сперанского в марте 1812 года, цензурные преследования “российского Жильбаза” В. Т. Нарезного и отнюдь не самого радикального “духа журналов” Г. М. Яценко, восстание Семеновского полка осенью 1820 года, основание военных поселений и многие другие; в достаточной мере значительные события принимаются за точки, от которых ведется отсчет времени не только изменения самодержавной политики, но и изыскания столь трудно уловимой в

абсолютистском государстве субстанции, которую именуют духом общества. Настроения, взгляды, мнения этого ограниченного круга лиц, которые, не будучи независимыми от правительства, тем не менее влияли на него, чрезвычайно интересны историкам эпохи. Существование этой субстанции при самодержавии хотя и вызывает порой сомнение у потомков, было очевидно современникам. “Мнения правят миром” - этот принцип французских просветителей, сформулированный в условиях абсолютной монархии Франции, получал в России начала XIX века все большее распространение. В первую очередь в дворянской среде, то есть в единственном, как считал М. М. Сперанский, сословии, имевшем гражданские права и осознанно или подсознательно стремившемся к правам политическим. Напомним, что само слово “общественность” было введено в русский язык Карамзиным на заре века, а известно, что новый термин приживается только тогда, когда в нем возникает потребность.

Еще в 1805 году в IX номере журнала “Друг просвещения” без обиняков утверждалось: “Где молчит закон, там говорит общественное мнение”. “Мнениям” придавалось все большее значение: “...начала устанавливается власть мнения, бывшая единственным способом получить от других людей добро, которого закон не мог доставить, и отклонить от себя зло, от которого он не мог защитить”, - писал незадолго до 14 декабря будущий декабрист П. А. Крюков, размышляя об эпохе возникновения государства⁹⁹. Более конкретно был М. С. Лунин, в 1838 году рассуждая о российских порядках: “...народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, которые мешают ему выразить”¹⁰⁰. Как известно, в составившихся III отделением с первых лет царствования Николая I ежегодных “Обозрениях” слухи, настроения и мнения различных слоев общества занимали едва ли не первое место. Наконец, даже грибоедовское:

*Поверили глупцы, другим передают,
Старухи визг тревогу бьют -
И вот общественное мнение!*¹⁰¹

будучи насмешкой над “общественным мнением” московских гостиных, не является отрицанием самого общественного мнения.

Казалось бы, в самодержавном государстве роль мнений должна быть ничтожной, но ведь о самом императоре России писал Пушкин в 1825 году в “19 октября”: “...Он раб молвы, сомнений и

страстей”¹⁰². Слова Пушкина не были поэтическим преувеличением. Декабрист И. Д. Якушкин, человек отнюдь не близкий к высшим сферам управления империей, приводит слова Александра I П. М. Волконскому, ставшие, видимо, широко известными в обществе. В разговоре о тайных обществах царь сказал: “Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении”¹⁰³. Очевидно, наряду с “удавкой” “мнение” служило уздой для монарха. Бывали случаи, что общественное мнение концентрировалось на одном, совершенно конкретном вопросе. В 1821 году, когда предполагался поход русской гвардии на подавление неаполитанской революции, командир Гвардейского корпуса И. В. Васильчиков сообщал начальнику Императорского штаба П. М. Волконскому, что “настроение умов не хорошо” и офицеры “не желают идти против неаполитанцев”. “...Революция в умах уже существует, и единственное средство не потопить корабля, это не натягивать более парусов, чем ветер позволит”, - заключал свое мнение Васильчиков¹⁰⁴.

Анализ исторического процесса по наиболее ярким и значительным явлениям времени позволяет иметь дело с разнохарактерными историческими фактами, что, хотя и придает исследованию полноту и глубину, вынуждает упрощать сложные и разносторонние явления, заставляет сравнивать факты, порой несопоставимые по своему общественному значению, или, как говорят математики, “разного порядка”.

С этой точки зрения представляется интересным произвести разрез истории александровского общества и изменения его духа по отношению к книгам Куницына - событиям однородным, “одного порядка”, и вместе с тем достаточно важным и значительным, чтобы быть мерилom своего времени.

1811 год. Речь, произнесенная Куницыным при открытии Лицея в присутствии царя и высших сановников империи, была отнюдь не импровизацией, а хорошо подготовленным, продуманным и отредактированным действием. И если для Куницына речь была высоким гражданским актом, то для министра Разумовского это был удачный эпизод придворной жизни. Однако ситуация была такова, что два столь разнородных события вполне уложились в рамки речи молодого адъютант-профессора. Речь эта, как известно, получила всеобщее одобрение. Всеобщее, правда, не означает вовсе единодушное: и в Москве, и в Петербурге было достаточно людей, не одобрявших нововведений. Однако они вынуждены были молчать или глухо ворчать, подавленные господствующим настроением общества и императора. Обратим лишь внимание на парадокс российской действительности: либеральная, вольнолюбивая, почти

вольнодумная речь была произнесена на открытии дворянского, то есть сословного, закрытого, привилегированного учебного заведения, что, безусловно, было шагом назад по сравнению с программой создания сети университетов, принятой в 1803-1804 годах. При всем своем либерализме в первые годы царствования Александра I самодержавие оставалось самим собой и не могло позволить себе готовить высших государственных сановников из своих второсортных подданных, для которых были открыты университеты. Публицистическая деятельность Куницына началась сразу вслед за его речью на открытии Лицея и не встречала противодействия цензуры и правительства. В 1817 году, как уже говорилось, выходит "Изображение взаимной связи государственных сведений" (цензурное разрешение 30 июня 1817 года), а в 1818-м - "Право естественное" (ч. 1; цензурное разрешение 29 марта 1818 года). Обе книги без осложнений прошли цензуру, хотя там имелись сентенции, находящиеся в прямом противоречии с существовавшим тогда в России государственным устройством: "Каждый человек внутренне свободен и зависит только от законов разума, а посему другие люди не должны употреблять его средством для своих целей. Кто нарушает свободу другого, тот поступает противу его природы"¹⁰⁵. "Человек имеет право на все деяния и состояния, при которых свобода других людей по общему закону разума сохранена быть может"¹⁰⁶. Для сравнения процитируем "Первые начала права естественного" - перевод из Шмальца и Буле, выполненный Л. Цветаевым и вышедший в Москве в 1816 году: "Государь и правители совершенно независимы; их воля заменяет волю народа, и как воля народа была независима, то и их воля должна быть такова же"¹⁰⁷. На подобные эскапады Куницын способен не был. Вообще, конечно, печатное воспроизведение тезисов Куницына в условиях крепостнического государства представляется нам удивительным, но тем не менее является реальным фактом. Правда, естественно-логичный и кажущийся нам небольшим следующий шаг уже вызвал правительственные репрессии. В 17-м номере "Сына Отечества" за 1818 год (цензурное разрешение от 23 апреля) в статье "О состоянии иностранных крестьян" Куницын писал: "Свобода есть право человека поступать по своему благоусмотрению во всем, том, что не вредит другим людям. По сему понятию первое важнейшее право иностранного крестьянина состоит в том, что он сам себе принадлежит и не переходит из рук в руки посредством мены, продажи, дара, наследства и других сделок"¹⁰⁸.

Вот этот-то "по сему понятию", то есть переход от общетеоретических философско-юридических рассуждений к практике

сегодняшнего российского дня и вызвало предписание министра А. Н. Голицына от 14 мая 1818 года, запрещавшее печатать любые статьи в защиту или опровержение “вольности или рабства крестьян, не только здешних, но и иностранных”. Однако это распоряжение Голицына не повлекло за собой каких-либо преследований.

Известно, что издатель “Духа журналов” Г. М. Яценко (бывший цензором “Права естественного”), с которым своей статьей полемизировал Куницын, не решился отвечать ему, так как считал, что Куницын выражает мнение, апробированное властями. Таким образом, весной 1818 года дух общества был еще весьма либерален. Оно и понятно, если вспомнить, что речь Александра I в Варшаве, в которой он недвусмысленно дал понять о своем намерении ввести в России “законносвободные постановления”, была произнесена 15 марта 1818 года. “Сия то речь, обнаруживающая великое настроение Александра I дать и России подобные уставы, как электрической силой потрясла сердца всех пылких русских. 1818-й и 1819-й годы были лета волнения умов, везде и все толковали о конституциях...”, - вспоминал уже в старости участник ранних декабристских обществ Ф. П. Толстой¹⁰⁹.

Наконец, в начале 1820 года (цензурное разрешение 14 октября 1819 года) вышла вторая часть “Права естественного”. В этой книге содержалось приложение теоретических основ естественного права, изложенных в первой части книги, к практике общественной жизни и весьма мало соответствовало практике Российской империи. “Употребление власти общественной без всякого ограничения есть тиранство, и кто оное производит, тот есть тиран. Никто не имеет права быть тираном. Ибо никто не может быть без законных пределов в употреблении власти... Неотчуждаемые и неотъемлемые права человека и в самом обществе и в самом подданстве должны оставаться неприкосновенными”, - утверждал автор¹¹⁰. И эта книга также благополучно миновала цензуру самодержавного государства. Благополучно миновала не потому, что цензор исходил из положения цензурного устава 1804 года о том, что “скромное и благоразумное исследование всякой истины не подлежит и самой умеренной цензуре”. Устав уже был “не в ходу”, и об этом принципе не вспомнят, например, ни разу на заседании Главного правления училищ, когда будут судить Куницына и его сочинение. Книга беспрепятственно прошла цензуру потому, что “Мнение” в это время было на стороне Куницына, а не Рунича. Более того, не вызвавшая гнева властей книга была представлена для поднесения царю директором Лицея Е. А. Энгельгардтом, человеком отнюдь не революционных взглядов, не

склонного к необдуманным постановкам и достаточно близкого ко двору, чтобы по неведению не поплыть против течения.

Повторное рассмотрение книги, вместо того чтобы превратиться в пустую формальность (по сути дела надлежало лишь удостовериться в компетентности автора, так как его благонадежность была уже удостоверена цензурой), вылилось в уже описанную расправу над книгой и ее автором.

В 1818 или 1819 году набат Рунича не был бы услышан. В то время подозрения скорее бы вызвали его филиппики, чем книга Куницына.

Так, в конце 1818 - начале 1819 года была запрещена книга Станевича “Беседа на гробе младенца...”. По определению исследователя истории духовной цензуры А. Котовича этой книге было “суждено сделаться поводом к обнаружению настоящих отношений между представителями мистицизма и православия”¹¹¹. Когда, вероятно, по чьей-то подсказке А. Н. Голицын ознакомился с книгой, он пришел в крайнее негодование и написал доклад Александру I. Среди других пунктов обвинений министр упомянул и то, что “автор опорочивает такие книги, кои гражданская цензура пропустила”¹¹². Хотя и книгу и ее автора постигло наказание, но здесь дело шло о ведомстве духовной цензуры, традиционно бывшей строже и придирчивее цензуры гражданской, которой в этом деле, как видим, отдавался приоритет.

А в начале 1818 года в “Военном журнале”, издававшемся при гвардейском штабе и выходившем без предварительной цензуры, Голицын прочел рассуждение, где в поисках источника храбрости православие ставилось в один ряд с суеверием. “По званию своему министра духовных дел и просвещения” Голицын обратился к начальнику штаба гвардейского корпуса генералу Н. М. Сипягину о “внушении” издателям, “чтобы впредь подобных, оскорбляющих православную веру-нашу”¹¹³ статей не было в журнале, освобожденном от цензурного просмотра. Получив от Сипягина удовлетворительные объяснения (в частности, что издатели и сами собирались поместить к этому месту свои примечания-опровержения по окончании статьи в последующих номерах журнала), Голицын одобрил принятые Сипягиным меры. Что же до предложения генерала ввести предварительную цензуру “Военного журнала”, министр благосклонно писал, что он “не имел в виду требовать цензурирования сего журнала, ...но если Вашему превосходительству угодно будет то исполнить, сие от Вас зависит”¹¹⁴. Однако Сипягин рассудил, что все обошлось, и “Военный журнал” по-прежнему выходил с грифом “печатано с Высочайшего дозво-

ления”. Конечно, штаб гвардии для министра духовных дел и народного просвещения был не простым орешком, но и времена были еще не те. Однако летом 1820 года ситуация уже была другой. Рунич позволил себе почти на четыре месяца отложить рассмотрение предложенной к поднесению императору книги, а давший первое обширное положительное заключение академик Фусс впоследствии не посмел ни в чем ему возразить. Да и что там Фусс; Руничу внимали и одобряли его люди, стоявшие на несколько ступеней выше его в иерархии российской бюрократии. “Дух общества” вслед за духом правительства переменился.

О “духе”, воцарившемся в правительственных кругах и, в первую очередь, в министерстве Голицына, красноречиво свидетельствует его записка от 4 ноября 1821 года, адресованная Руничу, исправлявшему дела попечителя Петербургского учебного округа: “Я сердечно пожалел о вчерашнем Вашем страдании, но Вам надобно поблагодарить Господа, что он Вас удостоил за него сражаться с явными его врагами... Христос да будет с Вами сегодня, как и всегда, и да расточатся враги Его для славы Троиединого”¹¹⁵. Для полноты картины следует лишь добавить, что под “страданием” Рунича имелось в виду его неистовое ханжество при расправе с профессорами Петербургского университета, прологом которому послужило дело Куницына.

Расправа с автором “Права естественного” была не единственным событием этого плана, начатым в середине 1820 года. Уже упоминавшийся особый комитет по учреждению школ взаимного обучения, нацеленный на то, чтобы поставить прочный оплот “сему опасному нововведению”, где первую скрипку играли все те же Магницкий и Рунич, первое заседание провел 10 июня 1820 года. А 21 января 1821 года (события шли с опережением дела Куницына примерно на один месяц) он рекомендовал закрыть Вольный комитет учреждения училищ взаимного обучения. Вслед за тем подготовленные Вольным комитетом таблицы для обучения письму и чтению изымались и уничтожались примерно в одно время с запрещением книги Куницына¹¹⁶. Таким образом, борьба с книгой Куницына шла параллельно с искоренением “неподобающего” духа, распространившегося в училищах взаимного обучения, которых было особенно много в армии.

Начались все эти “перемены” в Министерстве народного просвещения и духовных дел, возглавлявшемся бывшим в фаворе князем А. Н. Голицыным. Это министерство, в состав которого, с одной стороны, в качестве департамента входило все официальное русское просвещение, а с другой стороны - приравненные к

департаменту русская православная церковь и церкви иностранных исповеданий, было средоточием государственной идеологии, вырабатывавшим и насаждавшим официальное мировоззрение как в рамках учреждений самого министерства, так и за его пределами, насколько удавалось преодолеть амбиции других ведомств империи. И хотя в деле с “Правом естественным” министр Голицын ограничился рамками своего министерства, в этот период он чувствовал себя вполне уверенно в русле официальной политики империи.

Временем же начала “перемен” следует считать середину 1820 года, задолго до бунта в Семеновском полку, после которого они стали очевидны современникам и были отмечены мемуаристами как последствия “Семеновской истории”.

События в Семеновском полку лишь ускорили “перемены” и увеличили масштабы правительственных репрессий, которые заставили многих либерально мыслящих людей оставить надежды на союз с правительством и в корне пересмотреть свои позиции. Началось размежевание между людьми, сохранившими свои свободные взгляды, и теми, кто не желал становиться в оппозицию правительству.

“Эпоха” Николая I исподволь созревала в недрах либерального царствования его брата и началась примерно за пять с половиной лет до воцарения Николая. Если припомнить, что большая часть “стажировки” Николая I в качестве наследника прошла именно после 1820 года (Константин был отстранен от престолонаследия в 1819 году), то будет легче найти и объяснить происхождение многих “своеобразных” взглядов будущего императора и событий его царствования. Причины же столь крупного поворота следует искать в других, более широких явлениях российской действительности и европейской политики.

Еще в 1818 году внесший свою лепту в расправу с книгой Куницына А. С. Стурдза написал по поручению Александра I для членов Аахенского конгресса брошюру, направленную против “вольномыслия” в немецких университетах. На межминистерских конференциях германских государств в августе - сентябре 1819 года в Карлсбаде и в ноябре 1819 года - мае 1820 года в Вене дипломатии Меттерниха удалось добиться проведения ряда мер по ограничению и подавлению “демагогических происков” в германских университетах. Эти постановления, конечно, не имели юридической силы для России. Но “происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов сблизили нас с Европою... И никакая человеческая сила не может уже обратить нас вспять”, - писал Н. И. Тургенев¹¹⁷. Правда, будущий декабрист имел в виду лучшие традиции европейского

просвещения и свободомыслия, а в данном случае западный ветер нес в Россию семена реакции и мракобесия. Александр Гумбольдт, близко к сердцу принявший проблемы немецкого просвещения, в апреле 1820 года язвительно писал своему брату: “После карлсбадской воды во всей Европе сейчас ничего так упорно не избегают, как принципов ...Когда тебе без конца твердят об опасных агитаторах, это уже само по себе становится агитацией; мне это напоминает врачей, которые прописывают пациентам возбуждающие средства, а потом удивляются, что появляются воспалительные процессы”¹¹⁸. Меры, предпринятые русским Министерством просвещения против еще немногочисленных русских университетов и печати, показывают, что русская бюрократия сочла своим долгом и правом следовать в фарватере обязательств, предписанных Меттернихом мелким германским государям. Персональное же приглашение “специалиста” по немецким университетам А. С. Стурдзы на заседание Ученого комитета Главного правления училищ с проектом преподавания “Права естественного” лишний раз подчеркивает вторичность нововведений чинов русского “просвещения”.





"ИЗДАНИЕ КОШАНСКОГО"

При изучении жизни и деятельности лицейских профессоров Пушкина исследователь сталкивается с одной стороны с многочисленными о них упоминаниями в мемуарах современников и трудах историков, с другой стороны - с отсутствием сколько-нибудь полных биографий этих людей. Исключение представляет лишь профессор российской и латинской словесности Николай Федорович Кошанский. В 1902 году в сборнике "Памяти Леонида Николаевича Майкова", вышедшем в Петербурге, была опубликована статья А. И. Малеина "Николай Федорович Кошанский". В примечании к своей статье Малеин, которому только минуло 30 лет, пишет, что она выполнена по мысли В. И. Саитова, тогда уже видного историка литературы и библиографа, в круг широких интересов которого попали некоторые книги, переведенные Кошанским. В Петербурге в Российской национальной библиотеке хранится экземпляр книги "Путешествие Пифагора, знаменитого самосского философа; или Картина древних славнейших народов, изображающая их происхождение, обычаи, богослужение, таинства и достопамятности". Этот том включает первые три части романа (1 и 2-я части - 1804 г., в университетской типографии "у Любия, Гария и Попова", 3-я часть - 1805 г., в "вольной типографии у Гария и компании"). В томе имеется заметка 1900 года В. И. Саитова, обнаруживающая его интерес к

этому изданию, связанному с именем Кошанского. В поисках и подборе материалов для биографии Кошанского Малеину, по его свидетельству, помогали многие знатоки книги и описываемой им эпохи; среди них Б. А. Модзалевский, В. П. Ламбин и другие.

В итоге почти через сто лет после своего создания написанная Малеиным биография Кошанского остается практически абсолютно полной и совершенно не устаревшей. До того времени, когда в оборот поступят какие-либо новые, неизвестные Малеину значительные по объему архивные материалы, его труд будет основополагающим по этому вопросу. Можно лишь уточнять и дополнять сведения, добытые Малеиным, оспаривать отдельные моменты его статьи и в любом случае опираться на его на редкость добросовестный труд; не может быть исключением и эта глава.

В памяти современников и ближайших потомков Николай Федорович Кошанский остался прежде всего как автор “Риторик” - книги, сделавшей имя лицейского профессора не только известным, а даже нарицательным. “...Одним словом, все как следует, по риторике Кошанского”, - писал в своем дневнике в 1843 году А. В. Никитенко, с легким юмором вспоминая речь на юбилее министра просвещения С. С. Уварова¹. В эти же годы Белинский, критикуя поэзию Бенедиктова и цитируя особенно напыщенные строки, заключает: “Общие места по риторике г. Кошанского”. “Опять слова, опять риторика Кошанского, опять ребячий лепет”, - писал полтора десятка лет спустя об административной деятельности русского правительства Н. П. Огарев в статье “Русские вопросы”². А через несколько страниц в той же статье о правительственной амнистии: “Да когда же мы забудем язык риторики Кошанского?”³. Эта статья была напечатана в выходившей в Лондоне “Полярной звезде”. А в России Чернышевский, рецензируя непомерно длинный роман Теккерей “Ньюкомы”, с легкой иронией рассуждает: “...мы готовы были бы причислить к семи греческим мудрецам почтенного Кошанского за его золотое изречение: “Всякое лишнее слово есть бремя для читателя”. А в следующем абзаце Чернышевский, уже переходя к рецензируемому роману, с той же иронией конкретизирует: Теккерей “плодовит, слог его текуч и обилён, по терминологии Кошанского, - оттого и романы его очень длинны”⁴. Статьи Огарева и Чернышевского увидели свет в 1857 году, когда и “Общая” и “Частная” риторики уже были заменены другим учебником.

“Общая риторика” Кошанского вышла в свет в 1829 году, когда Кошанский покинул стены Лицея, а “Частная риторика” - в 1832 году, когда автора уже не было в живых. Пушкин в это время - давно не лицейский юноша, а признанный гений русской поэзии и

по понятиям своего времени давно не молодой человек. Но нити от “Риторик” тянутся к 1799-1802 годам, когда Кошанский еще преподавал в Благородном пансионе Московского университета. Следовательно, многое из преподносившегося Пушкину на лекциях в Лицее, где немало времени было посвящено риторике, вошло в ставшие столь популярными книги. Однако в наше время Кошанский - автор “Риторик” - представляет интерес лишь для неширокого круга специалистов, а для остальных он - прежде всего один из учителей великого поэта⁵.

Лекции Кошанского, преподававшего латинскую и русскую словесности (т. е. и языки и литературу этих языков), были особенно важны для Пушкина. Искусство античности, судьбы и образы великих поэтов древности, авторитет которых был громаден на рубеже XVIII и XIX веков, их место в обществе, история литературы, не говоря уже о систематическом обзоре произведений античной и русской литературы, - все это было сферой лекций Кошанского. Однако и эти достаточно широкие рамки он сумел расширить. Так, ему принадлежит заслуга широкого знакомства лицеистов с оссиановским циклом.

Принято указывать на неприятие юным Пушкиным Кошанского и его курса. Основанием для этого обычно служит пушкинское “Моему Аристарху”. Однако представляется, что самый факт появления этих стихов свидетельствует прежде всего об интересе Пушкина к лекциям Кошанского и усвоении его курса, а затем уже о разногласиях между учеником и учителем. Аналогичные курсы французской и немецкой словесности, читавшиеся соответственно де Будри и Гауеншильдом, не оставили нам следов, даже отдаленно напоминающих те искры, которые были высечены столкновением чувств Пушкина с взглядами Кошанского. Само же стихотворение Пушкина отнюдь не говорит ни о пренебрежении, ни об антипатии ученика к учителю. Если взять для примера начальные строки “Моему Аристарху”, то в них слышна прежде всего самоирония, которая смягчает небезобидные насмешки над адресатом, имевшем среди прочих грехов и слабость к вину:

*Помилуй, трезвый Аристарх,
Моих вакхических посланий,
Не осуждай моих мечтаний
И чувства в ветреных стихах.
Плоды веселого досуга
Не для бессмертья рождены,
Но разве так сбережены
Для самого себя, для друга,
Да для Гелифы молодой⁶.*

Куда здесь до лихого зорения анонимных национальных песен Лицея или, бесспорно, принадлежащих молодому Пушкину эпиграмм. Конечно, отдельно взятые из текста и собранные воедино обращения к “Аристарху” звучат достаточно сурово: “уроки твоей учености сухой”, “мой гонитель”, “мой скучный проповедник”. Но ведь мы здесь имеем дело прежде всего с поэтическим произведением, и подсчет злых метафор может лишь заслонить сами стихи, которые, как бы то ни было, адресованы Аристарху, а не Зоилу.

Заключительные строки:

*А ты, мой скучный проповедник,
Умерь ученый вкуса гнев!
Поди кричи, брани другого
И брось ленивца молодого
Об нем тихонько пожалев⁷.*

звучат почти дружелюбно и говорят, прежде всего, о разном подходе к творчеству ученика и учителя, поэта по рождению и поэта по образованию. Но к истории создания “Моему Аристарху” мы еще вернемся.

Посредственность поэта Кошанского не помешала профессору Кошанскому высоко оценить своего ученика и в его лицейские и в последующие времена. Известно, что в классе он охотно читал стихи своего бывшего ученика, а в конце жизни многократно включал в свои “Риторики” его стихи. Один из них сопровождался и таким комментарием: <<Нельзя не назвать его “стихом гения”>>.

По воспоминаниям И. И. Пущина, еще в первую лицейскую зиму Пушкин в классе Кошанского набросал два четверостишия с описанием розы, которые восхитили и класс, и учителя. Причем профессору стихи настолько понравились, что он взял себе рукопись Пушкина.

Приведем характеристику лицеиста Пушкина, данную ему профессором Кошанским в ноябре 1812 года, которая почти не менялась в последующие годы: “Больше имеет понятливости, нежели памяти, больше вкуса к изящному, нежели прилежания к основательному; почему малое затруднение может остановить его, но не удержать: ибо он, побуждаемый соревнованием и чувством собственной пользы, желает сравниться с первыми воспитанниками. Успехи его в латинском довольно хороши, в русском не столь тверды, сколь блистательны”⁸. В этом отзыве тесно слиты восхищение ценителя поэзии и недовольство педанта-учителя.

Общая оценка Кошанским успехов Пушкина: “хороши довольно” значительно выше, чем “нимало не успевает” Гауен-

шильда, “успехи не значущие” Куницына или “успехи посредственны” Карцова.

Пушкин, в свою очередь, в неопубликованной при жизни статье “Дельвиг”, отмечая глубокое знание своим покойным лицейским товарищем многих современных и древних авторов, не преминул заметить: “Горация изучил в классе под руководством профессора Кошанского”. Имя профессора Кошанского должно в данном случае служить гарантией хорошего знания Дельвигом латинского автора. Добавим, что исследователи темы “Пушкин и античность”, как правило, отмечают его основательное знание древней классической литературы.

Что же касается высказанного М. Корфом в его воспоминаниях замечания, что не профессору Кошанскому и не адъюнкту Георгиевскому обязан Лицей своими поэтами, то позволительно спросить, кто вообще мог бы претендовать на то, чтобы назвать гений Пушкина плодом своих трудов? За полтора века, прошедшие со времени гибели Пушкина, таких попыток не отмечено.

В отличие от своих коллег по Лицею Николай Федорович Кошанский происходил “из дворян”. Род Кошанских не был ни знатен, ни богат, но принадлежность к высшему сословию России избавила будущего профессора Лицея от многолетнего обучения в духовных заведениях. 15 февраля 1798 года он поступает в Московский университет. Если исходить из общепринятого времени рождения Кошанского (обычно указывается 1781 год без указания числа и месяца), то ему было при поступлении 17 или, скорее, даже 16 лет. Однако, если исходить из хранящегося в лицейском архиве послужного списка Кошанского за 1831 год¹⁰, где указан его возраст 47 лет, то датой его рождения можно считать приблизительно 1783 год (если не 1784-й). В таком случае Кошанский - ровесник Куницына, и на год моложе Кайданова, а старшинство его есть старшинство по службе, а не по возрасту. Если принять 1783 год за год рождения Кошанского, то он поступил в университет, скорее всего, неполных пятнадцати лет. Эта дата тем более реальна, что “произведен в студенты” Кошанский был только 30 июня 1799 года, то есть примерно шестнадцати лет. Возраст ранний, но вполне правдоподобный для юноши из заурядных дворян, вынужденного самому пробиваться в жизни. Впрочем, родовитый П. Я. Чаадаев поступил в Московский университет едва 14 лет.

Таким образом, 1783 год как год рождения Кошанского представляется вполне реальным. Но сам по себе послужной список не может служить полноценным основанием для пересмотра

общепринятого года рождения Кошанского, так как известны многочисленные неточности этого вида документов, особенно года рождения и событий раннего возраста. Поэтому 1783 год можно считать годом рождения Кошанского лишь предположительно, последнее слово здесь за записью в приходской метрической книге.

Ровно через 3 года после того, как он был произведен в студенты, 30 июня 1802 года, по окончании полного курса философских и юридических наук, Кошанский удостоивается золотой медали, а 1 сентября 1802 года становится кандидатом. Следует заметить, что, несмотря на наличие юридического образования, впоследствии Кошанский юриспруденцией никогда не занимался и юридических наук не преподавал, тяготея всю жизнь к языкам и эстетике. Языками Кошанский занимался много. Так, в бытность свою в университете он изучал помимо российского греческий, латинский, французский, немецкий и весьма редкий тогда в России английский.

Можно предположить, что курс юридических наук был пройден им для надежности материального обеспечения своей жизни. Еще до окончания университета Кошанский начал преподавание риторики в Благородном пансионе, по окончании же своей учебы в 1802 году он вступает в должность учителя латинского и греческого языков в университетской гимназии, ведет класс риторики в Благородном университетском пансионе. В 1805 году он защищает магистерскую диссертацию и направляется в Петербург для путешествия в Италию; но из-за шедшей тогда войны "занимался рассматриванием древностей и разных камней в Эрмитаже и изящных искусств в Академии художеств". Результатом "рассматривания" была диссертация на звание доктора философии, защищенная Кошанским в Москве в феврале 1807 года. Диссертация его, посвященная отображению мифа о Пандоре в античном изобразительном искусстве, была написана по-латыни¹¹.

Карьера Кошанского, как видим, развивается, если не стремительно, то весьма быстро. Помимо личных качеств Кошанского этому в значительной степени способствовало покровительство ставшего в 1803 году попечителем Московского университета и его учебного округа М. Н. Муравьева. Преподаватель истории и нравственной философии будущего императора Александра I, отец декабристов Александра и Никиты Муравьевых, дядя Михаила Лунина, Михаил Никитич Муравьев был, по словам Ф. Ф. Вигеля, "муж ученый, кроткий и добросердечный; умный и приятный писатель, один из наставников императора. К сожалению, не довольно пылкий и твердый, чтобы сделаться одним из доверен-

ных его советников. Он везде и во всем видел добро и столь же страстно любил его, как и искренно в него веровал”¹².

В 1807 году М. Н. Муравьев умер, но благодарный Кошанский на всю жизнь сохранил память об этом человеке. Уже в конце жизни, составляя свою “Частную риторику”, вышедшую посмертно в 1832 году, Кошанский непомерно много внимания уделяет “Разговорам в царстве мертвых” М. Н. Муравьева, произведению, по выражению академика М. П. Алексева, представлявшему “собой в то время уже вопиющий анахронизм”¹³. Вслед за А. И. Малениным М. П. Алексеев совершенно основательно считает, что причиной такого внимания Кошанского к уже забытому в то время сочинению “служило чувство благоговения перед памятью своего покровителя М. Н. Муравьева”. Это же чувство, однако, испытывали к Муравьеву умерший в 1833 году Гнедич, Карамзин, доживший до 1852 года Жуковский и некоторые другие младшие современники Михаила Никитича.

Возвратившись в Москву, Кошанский, однако, не смог из-за отсутствия вакансии получить место профессора университета и вынужден был вести преподавание как в самом университете, так и в различных московских средних учебных заведениях. В поисках приработка он преподает в частных московских домах, не брезгает и чиновничьей службой. Так, в конце 1809 года он занимает место секретаря при Цензурном комитете Московского округа, а в начале 1810 года избирается секретарем при Комитете испытаний в восьмиклассные чины - учреждении, ведавшем приемом экзаменов от чиновников, получавших чин коллежского асессора (8-й класс), дававший потомственное дворянство. Каждая из этих должностей давала небольшую добавку к учительскому жалованью, но не требовала много времени. Кроме того, Кошанский ведет начатую еще до отъезда в Москву литературно-публицистическую деятельность. Впоследствии в своем послужном списке¹⁴ Кошанский все свои книги разделит на четыре группы: книги для Московского университета, для университетского пансиона, для Императорского Лицея и переводы для публики.

Студенты Московского университета по традиции еще с новиковских времен принимали участие в периодических изданиях университета и просто подрабатывали переводами по заказам московских книгопродавцев. Однако этим в начале XIX века дело уже не ограничивалось. В отчете за 1803 год попечитель Муравьев пишет: “По неимению кратких систем, по которым могли бы преподаваемы быть науки в гимназиях, по приглашению моему г.г. профессоры Страхов, Шлецер и Гейм приняли на себя сочинение

таковых элементарных книг”. Исследовательница издательской деятельности Московского университета Р. Н. Клейменова, цитируя этот документ, отмечает, что “для создания учебников университет привлекал старшекурсников, кандидатов, профессоров”¹⁵. Впоследствии в предисловии к одной из учебных книг Кошанский, вспоминая о начале своей деятельности в качестве переводчика и автора, прямо называет этот круг сотрудников Муравьева “обществом для издания классиков”. В упоминавшемся уже послужном списке он указывает следующие “переводы для публики”: “Зефир и Флора” (1800), “Фелиция Вильмар” Бланшарда (1801-1802), “Путешествие Пифагора” Марешаля (первые три тома 1803-1804) и “Рыцари лебедя” Жанлис (1807-1809). Хотя не все указанные в послужном списке 1831 года переводы полностью соответствуют выходившим в те годы в Москве книгам, вряд ли следует подозревать его в вымысле или преувеличении. Составляя свой очередной послужной список, статский советник и кавалер Кошанский едва ли мог рассчитывать, что сделанный в молодости перевод теперь прибавит ему славы. Скорее всего, за четверть века многое стерлось в памяти, плюс к тому сказалась небрежность при исполнении привычной формальности. Что касается дат, то Кошанский, возможно, иногда указывал по памяти годы переводов, а не годы изданий книг; кроме того, в обычае времени было не указывать, по крайней мере в послужных списках, соавторов своих литературных трудов. Вспомним, кстати, что малоизвестному тогда Кошанскому иной раз приходилось выступать анонимно. Поэтому, вероятно, на титульном листе романа “Фелиция Вильмар, или Изображение человеческой жизни”, который был напечатан в 1805 году в университетской типографии, указан переводчиком Андрей Чеботарев. А сочинение госпожи Жанлис “Рыцари лебедя, или Двор Карла Великого” имеет пометку, что оно издано Кошанскими. Под вторым Кошанским, скорее всего, имеется в виду брат Василий Федорович, который по смерти Николая Федоровича заменил его на посту директора Института слепых (другой брат, Кирилл, служил чиновником хозяйственного правления в Лицее).

“Рыцарей лебедя”, вышедших из типографии университета в 1807 году, во время примирения России с Францией, зафиксированного Тильзитским договором, издатели снабдили небольшим предисловием, где говорилось: “Карл Великий был почти современником нашему Рюрику, и как приятно видеть древние нравы тех жителей, кои в наше время сделали столько переворотов в Европе”¹⁶. Возможно, что именно конъюнктура “медового месяца” русско-французских отношений побудила Кошанского выступить не только переводчиком, но издателем этого романа.

Вероятно не всегда выбор иноязычного произведения для перевода зависел только от переводчика. Факторов, определяющих этот выбор, было предостаточно. И все же из всех переведенных Кошанским произведений нельзя не отметить “Путешествия Пифагора” - произведения Сильвена Марешаля, известного деятеля бабувистского движения, одного из ближайших товарищей Гракха Бабефа и Буонаротти по “заговору равных”, состоявшего членом “Тайной директории общественного спасения”. Оставшись на свободе после казни Бабефа в 1797 году, Марешаль в 1799-м выпустил “Путешествия Пифагора”, где проводились идеи утопического коммунизма. В России эта книга сыграла большую роль в формировании мировоззрения будущих декабристов. В своей книге, посвященной истории формирования идеологии и организации декабристов, С. С. Ланда указывает на роман Марешаля, как на “важное теоретическое звено между деятельностью участников “Заговора равных” и последующим развитием европейского конспиративного движения”¹⁷. Правда, декабристы, вероятно, знакомились с книгой “великодушного Сильвена” в основном по полному подлиннику. Трудно предположить, что в выборе романа Марешаля для перевода Кошанский обошелся без Муравьева. Скорее, наоборот: именно отец будущих основателей декабристского движения М. Н. Муравьев предложил Кошанскому для перевода это новейшее произведение французской литературы. И в этом свете перевод Кошанского может обозначать многие неизвестные нам факты и события.

Сотрудничает Кошанский в это время и в журналах. В том же послужном списке он называет ряд московских журналов (среди них и “Вестник Европы”), где “разные его сочинения, до наук и словесности относящиеся, помещаемы были”¹⁸.

Таким образом, мы видим, что в первые годы после окончания университета, еще не имея возможности получить достаточный заработок педагогическим трудом, Кошанский “по-студенчески” прирабатывает переводами.

В 1807 году, уже после возвращения Кошанского из Петербурга, выходит его перевод “Руководства к познанию древностей” Милениа. Переводчик книги уже именуется “изящных наук магистром и философии доктором”. Посвящена она тогдашнему министру народного просвещения графу П. В. Завадовскому.

В этом году М. Н. Муравьев умер, и Кошанский, посвящая свою книгу министру, ищет себе нового покровителя. В духе эпохи он почтительнейше, но во всеоружии приемов высокой риторики, пишет: “Я дерзнул украсить труд мой именем единственного

покровителя Муз российских - именем ВАШЕГО СЯТЕЛЬНОСТИ. Простите великодушно мою дерзость! Сие великое имя защитит труд мой от забвения и возродит в юных соотечественниках любовь к таинственной древности". Тем не менее в том же посвящении переводчик не забывает отметить, что "сия книжка обязана бытием своим лестнейшему снисхождению Михаила Никитича Муравьева; но судьбами Вышнего, к величайшей горести, университет лишился своего мецената!" В данном случае в словах Кошанского не было ни лести, ни преувеличения. Книга переводилась по поручению М. Н. Муравьева. Следует отметить, что, как и большинство подобных книг, "Руководство" было не просто переводом. К основному тексту Кошанский "осмелился... прибавить некоторые замечания, относящиеся к отечеству. Историческое известие о прекраснейшем собрании в Эрмитаже, при Императорском Московском университете и в других местах России, почел я необходимым для сего издания"¹⁹.

"Сия книга издана по особенному препоручению университета, и издатель имел счастье получить за оную от Государя Императора часы", - с гордостью отмечал в перечне своих изданий, приложенных к послужному списку, Кошанский²⁰.

Если верить этому перечню, "Руководство к познанию древностей" было не первой учебной книгой Кошанского. За 1805 год он указывает свою "Таблицу латинской грамматики" для университетского пансиона. Однако "Таблицы", изданной в 1805 году, А. И. Малеву обнаружить не удалось. Изданная же в 1809 году "Таблица латинской грамматики с примерами" предназначена "благородным воспитанникам университетского пансиона" и не имеет обычной в таких случаях пометки "2-е издание".

1807 год проставлен на титуле первого, 1809-й - на титуле второго издания "Начальных правил русской грамматики" Кошанского. Эта книга была подготовлена также для университетского пансиона. В 1807 году вышли и "Правила, отборные мысли и примеры латинского языка с кратким словарем", которые так же были изданы "в пользу благородных воспитанников университетского пансиона". В том же 1807 году его имя, как имя переводчика, появляется на титульном листе издаваемого профессором Московского университета И. Ф. Буле "Журнала изящных искусств" - первого русского художественного журнала. Но если издатель Буле поименован надворным советником и профессором, то Кошанский назван запросто, без чинов, по имени и фамилии. Покровителем, а быть может, и инициатором издания этого журнала ("сей журнал издаваем был по препоручению университета"²¹), отмечено

в послужном списке) был все тот же Михаил Никитич Муравьев, но в середине 1807 года Муравьев умирает и издание “Журнала изящных искусств” на третьем номере прекращается. По мнению исследователя нашего времени, “это был журнал, вполне отвечающий заданиям современности”²². Роль Кошанского в этом издании не ограничивалась функциями переводчика. Ему принадлежит одна из наиболее интересных статей журнала, посвященная первоначальному проекту памятника Минину и Пожарскому. Издание же “Журнала изящных искусств” было возобновлено в Петербурге в 1823 году В. И. Григоровичем.

К моменту смерти своего покровителя Кошанский - видный московский публицист-литератор, автор ряда учебных книг, но еще не профессор, к чему он стремится всем сердцем. После смерти М. Н. Муравьева его место занимает граф А. К. Разумовский - высокообразованный вельможа и любитель-ботаник. До перехода в Лицей в 1811 году Кошанский издает “Учебную книжку латинского языка” (1809), а в 1811 году - “Латинскую грамматику с примерами для чтения, изданную по руководству Бредера”. Второе издание этой книги вышло в 1814 году, третье - в 1823 году, а в 1844 году - одиннадцатое.

В том же 1811 году в типографии московского университета печатается антология Кошанского “Цветы греческой поэзии”. Автор (и издатель) книги на титульном листе назван доктором философии, надворным советником и профессором российской и латинской словесности при Царскомельском лицее. Как и де Будри, издавший в 1811 году собственный учебник французского языка, Кошанский поспешил проставить свое новое звание профессора новоучрежденного и весьма престижного учебного заведения. Сама же книга была издана “по особому препоручению университета” и имела стихотворное посвящение Александру I, датированное 30 августа 1811 года (в то время еще не требовалось специального дозволения для посвящения книги императору). Книга была рассчитана на читателей, знающих древнегреческий язык, но ее русский текст был вполне связным и имел самостоятельное значение.

И наконец, заключая рассказ о московских изданиях Кошанского, упомянем небольшое сочинение в стихах “Природа”, которое, как говорится в послужном списке Кошанского за 1831 год, “было читано в обществе испытателей природы” и вышло отдельным изданием в Москве в 1810 году²³. Это издание выходит из круга интересов Кошанского и, по всей вероятности, должно рассматриваться как почтительная дань подчиненного стихотворца вкусам и интересам сиятельного шефа Университета.

Не имея реальных видов на кафедру в Московском университете, Н. Ф. Кошанский через ставшего министром просвещения Разумовского добивается перевода в Царскосельский Лицей. 23 февраля 1811 года Кошанский просит министра о месте в Лицее, мотивируя свою просьбу тем, что “ныне оставаясь в бездействии для университета и видя перед собою мрачную неизвестность, я страшусь будущего”²⁴.

12 июля Разумовский приказывает Кошанскому “немедленно отправиться сюда”, на что попечитель Московского учебного округа 27 июля 1811 года сообщает министру, что Кошанский выедет в Петербург не позднее 4 августа.

Слова Кошанского о “мрачной неизвестности” имели под собой достаточное основание. Несмотря на большую нехватку профессоров и преподавателей, в том же Московском университете бывали случаи, когда претенденты, особенно из соотечичей, годами ждали места. Так, П. И. Страхов, изучавший философию и филологию и стажировавшийся за границей, по возвращении в Россию из-за отсутствия вакансий в свое время должен был переквалифицироваться в физика и в бытность Кошанского в университете был популярным физиком и ректором университета. Однако не всем так везло на новом поприще.

Стремясь получить кафедру, Кошанский жертвует материальными выгодами уже налаженной в Москве жизни. Хотя его оклад в Московском университете составлял всего 600 рублей при казенной квартире, общий заработок, как следует из его записки А. К. Разумовскому, составлял почти 6000 рублей, из которых 3000 давало частное преподавание в богатых московских домах, а остальное - государственная служба в основном в московских учебных заведениях (Благородный пансион, Екатерининский институт, Воспитательный дом и другие)²⁵. Конечно, лицейский оклад в 2000 рублей и звание профессора были весьма соблазнительны, но здесь Кошанский несколько просчитался. Жизнь в Царском Селе, на значительном по тем временам расстоянии от Петербурга затрудняла получение какой-либо еще государственной службы или частных уроков. Правда, с открытием Благородного пансиона при Лицее жалование преподавателей удвоилось, и Кошанский стал получать 4000 рублей в год при казенной квартире. Директор же Энгельгардт вообще был против сторонних заработков преподавателей Лицея и пансиона. В 1817 году, отстаивая необходимость для профессоров Лицея жить в Царском Селе, он писал: “Нет сомнения, что профессор, обращаясь и вне класса с молодым человеком, найдет тысячу случаев действовать на умственное и

нравственное образование его как наставлением, так и примером, и что, следовательно, общая цель вернее и основательнее достигается”²⁶. Правда, резерв свободного времени давал возможность лицейским преподавателям уделять больше времени созданию учебников. Но в упомянутой записке министру Кошанский, прося о прибавке жалованья, упирает на невозможность иметь дополнительные заработки, живя в Царском Селе.

С июля 1811 года Кошанский числится уже в Лицее профессором российской и латинской словесности. Будучи одних лет с Куницыным, Кайдановым и Карцовым, Кошанский в отличие от них имеет уже почти десятилетний опыт преподавания и является автором семи учебных пособий по латинскому, греческому и русскому языкам и словесности. (55-летний де Будри только накануне перевода в Лицей издал первый свой учебник, а Гауеншильд, бывший одних лет с Кошанским, - два своих перевода речей Уварова.) Естественно, что Кошанский автоматически становится старшим среди преподавателей Лицея и правой рукой директора Малиновского.

В силу широкого диапазона учебных предметов и отсутствия в то время узкой специализации лицейские преподаватели вели широкий спектр наук. Так, Карцов преподавал все физико-математические науки, Кайданов - историю и географию, де Будри - французский язык и французскую литературу. По понятиям того времени это были весьма близкие между собой предметы. Что же касается Кошанского, то выбор его курсов, видимо, опирался на приобретенный им в Москве педагогический опыт: сочетание русского и латинского языков позволяло иметь одного преподавателя вместо двух. Вообще включение в лицейскую программу обучения латыни по понятиям того времени должно было подчеркнуть “ученость” его воспитанников. Латынь, как правило, преподавалась в семинариях и оставалась языком ученых, прежде всего естественников и медиков; последним преподавание специальных предметов велось, например, в Московском университете, на латинском языке. Латынь в начале XIX века еще была признаком “учености”. Ф. Ф. Вигель так со свойственной ему иронией объяснял назначение графа Завадовского на пост первого русского министра просвещения: “Исключая Сперанского, он один только знал по-латыни, а ведь это ученость: кому же приличнее его поручить министерство просвещения”²⁷. Вместе с тем, как отмечает Ю. М. Лотман, для дворян, “стремившихся к серьезному образованию”, было характерно владение латынью²⁸.

В течение почти трех лет, до самой смерти первого директора, Кошанский был вторым человеком в Лицее и после смерти Малиновского по естественному порядку вещей стал исполнять обязанности директора. Однако директорство Кошанского длилось недолго. Через месяц он заболел и больше уже на место директора не возвращался, хотя прослужил в Лицее до 1828 года.

Мы не располагаем медицинскими данными о болезни Кошанского. Только через полгода после заболевания Кошанского, 2 ноября 1814 года, лицеист Илличевский пишет своему приятелю по Петербургской гимназии П. Н. Фуссу: "...наш профессор Н. Ф. Кошанский, довольно известный в ученом свете, вдруг сделался болен"²⁹. Корф же в своих "Записках" прямо пишет о "белых горячках" Кошанского. Хотя язвительность и сарказм были весьма характерны для лицейских воспоминаний этого мемуариста, последующие обстоятельства некоторым образом подтверждают его правоту. Министр граф А. К. Разумовский, которому непосредственно подчинялся директор Лицея, весьма строго относился к любителям хмельного. Так, в 1812 году за пристрастие к вину был уволен пользовавшийся большим расположением воспитанников гувернер А. Н. Иконников. Очень обеспокоен был Разумовский и получив из Лицея донесение об истории с "гоголь-моголем". "Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный строгий выговор. Этим не кончилось, - дело поступило на решение конференции", - вспоминал впоследствии И. И. Пуцин. А в данном случае речь шла о личном протезе министра³⁰.

Официально больным профессор Кошанский числился со 2 мая 1814 года. Получив сообщение об этом, Разумовский направляет в Лицей адъюнкт-профессора Петербургского педагогического института А. И. Галича, служба которого в Лицее официально началась 10 мая 1814 года. 19 мая Разумовский уведомляет попечителя Петербургского учебного округа С. С. Уварова, которому был подчинен институт, что Галич будет ездить в Лицей и Благородный пансион по вторникам и средам для преподавания российской и латинской словесности "на время только болезни, приключившейся профессору сих предметов" Н. Ф. Кошанскому³¹.

В заседании лицейской Конференции 26 мая 1814 года в соответствии с предписанием министра на место Кошанского был определен адъюнкт-профессор Галич. Причем в мемориях Конференции недвусмысленно говорилось о том, что преподавание российской и латинской словесности поручается Галичу "на время болезни профессора Кошанского"³². Преподавание в Лицее и

пансионе представляло для Галича немалые неудобства, прежде всего потому, что требовало специальных поездок. По его просьбе все часы лекций были собраны ему на вторник и среду. Кроме того, занятый научной работой, далеко не расчетливый Галич не был заинтересован в лицейском жалованье, получение которого было несколько проблематичным, и всячески стремился освободиться от лицейского преподавания.

В заседании лицейской Конференции от 3 ноября 1814 года сперва рассматривались изданные Кошанским басни Федра.

Затем было рассмотрено “объявление” Галича о том, что обстоятельства не позволяют ему ездить в Лицей для преподавания лекций.

Конференция постановила “представить о сем, равно как и о выздоровлении профессора Кошанского, его сиятельству господину министру”³³. В заседании 1 декабря 1814 года конференция уже объявляет Кошанскому о согласии министра купить 600 экземпляров предложенной им книги и заслушивает решение министра “о несогласии его сиятельства на введение ныне профессора Кошанского по-прежнему в отправление должности, и дабы адъюнкт-профессор Галич продолжал впредь, до предписания, преподавать лекции в Лицее”³⁴. После чего “положено было известить о том” и Кошанского, и Галича. При этом характерно, что на этих заседаниях Кошанский не обозначен в качестве присутствующих членов Конференции, хотя никаких видимых причин (болезнь, занятость, отсутствие в Царском Селе) для этого не было. В итоге Галич вел “преподавание лекций” в Лицее более года, с 10 мая 1814 года до 1 июня 1815 года, о чем Конференция уже в 1816 году и постановила выдать ему по просьбе его особое свидетельство³⁵.

По истечении года после начала болезни Кошанского, не желая вести преподавание одновременно в Педагогическом институте, Лицее и благородном Пансионе, Галич подает Разумовскому прошение по всей форме на листе гербовой бумаги в один рубль: “Прослужив теперь уже целый год без дальнейших видов, изнурившись многократными поездками в здоровье, порастратившись в прочих моих делах по службе и домашних, изведав совершенную невозможность быть равно исправным в тройной должности и, наконец, истощившись в самом запасе такого рода учености, к которому я не зван и из которого могли оставаться у меня разве одни воспоминания, всепокорнейше прошу Ваше сиятельство уволить меня от обременительных занятий по Лицею и пансиону и удостоить за годичный труд награды по благоусмотрению”³⁶. Эта

просьба была наконец удовлетворена, а Галич был “награжден” 1600 рублями. Однако по увольнении Галича часы его были переданы, опять же временно, адъютанту Георгиевскому, что получило отражение на известной карикатуре А. Илличевского “Лицейские преподаватели, ищущие милости у графа Разумовского”. На ней Георгиевский, улыбаясь, за ноги тащит мрачного Кошанского подалее от глаз министра. Не получив разрешения вернуться к преподаванию, Кошанский продолжал числиться по Лицею, ведя private занятия и готовя свои учебные книги. Такое упорство министра, явно опасавшегося возобновления преподавательской деятельности Кошанского, заставляет нас поверить Корфу в его “диагнозе” болезни лицейского профессора, хотя, думается, стадию “белой горячки” следует считать преувеличением. Трудно сказать, сколько времени продолжалось бы неопределенное положение Кошанского, если бы 10 августа 1816 года Разумовский не вышел в отставку. Новый министр просвещения князь А. Н. Голицын, видимо уже принимая дела, обнаружил двусмысленное положение Кошанского. 2 сентября 1816 года Голицын предлагает Конференции Лицея рассмотреть вопрос о Кошанском: “Может ли он быть употреблен ныне на службу”³⁷. Получив ответ Конференции, что Кошанский давно здоров и Конференция уже просила разрешить ему преподавание, Голицын 12 сентября соглашается допустить его к занятиям.

Впоследствии, уже в 1817 году, Конференция подтвердила возобновление преподавательской деятельности Кошанского непосредственно со дня разрешения Голицына³⁸. Таким образом, из почти шести лет пребывания Пушкина в Лицее более двух лет Кошанский преподавания не вел. Однако это не значит, что в течение этих двух лет он вовсе не общался со своими учениками. Черновик письма (беловик до нас не дошел) Пушкина директору департамента народного просвещения И. И. Мартынову от 28 ноября 1815 года имеет следы правки рукою Кошанского³⁹. Письмо это является сопроводительным при отсылке Мартынову заказанной им “писеы”, которую мы сейчас называем “На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году”. Если Кошанский правил даже это письмо Пушкина Мартынову, то можно уверенно утверждать, что и сама “писеа” писалась Пушкиным под его “наблюдением” (черновая рукопись “писеы”, к сожалению, до нас не дошла). Известно, что Кошанский поправлял стихи Илличевского, поощряя напыщенность и ходульность. Что касается Пушкина, это тем более вероятно, что ода по стилю более, чем какое-либо другое произведение Пушкина, напоминает произведение XVIII века и пестрит

архаичными выражениями: “вотще”, “содрога”, “россы”, “стогны”. Для характеристики этого не лучшего пушкинского произведения достаточно привести его первые четыре строчки:

*Утихла брань племен: в пределах отдаленных
Не слышен шум и голос труб военных,
С небесной высоты, при звуке стройных лир,
На землю мрачную нисходит светлый мир*⁴⁰.

Напыщенная архаика оды, пожалуй, не имеет себе равных в пушкинском наследии. Это рука, или авторитетная настойчивость Кошанского, облагороженная пушкинским гением. Перипетии этого “влияния”, этой борьбы вкусов и взглядов, видимо, и отразились в пушкинском “Моему Архистарху”, который датируется вторым полугодием 1815 года. Если эти соображения верны, то логично видеть в “Аристархе” не обобщенное отражение отношения Пушкина к Кошанскому, а реакцию на “сотрудничество” с учителем при написании заказной оды, когда Кошанский выступал в роли строгого и педантичного цензора с довольно архаичными вкусами. Архаичность эта была очевидна молодому Пушкину, но отнюдь не взрослым современникам Кошанского. Преподававший в эти годы в Московском университете А. Ф. Мерзляков пользовался широкой популярностью у современников не только как поэт несоизмеримо большего масштаба, чем Кошанский, но и как критик и теоретик литературы, вкусы и взгляды которого были близки Кошанскому.

Представляется, что в послании “Моему Аристарху” далеко не исчерпываются все аспекты отношения Пушкина к Кошанскому, зато полностью нашли отражение временная раздраженность и досада юного автора по отношению к учителю, который слишком хорошо знал, “как делаются стихи”.

Итак, в сентябре 1816 года официально закончилась болезнь Кошанского и связанный с нею перерыв в преподавании. Что же до авторской и издательской деятельности Кошанского, то она не прекращалась во все время, пока он был не у дел в Лицее.

Первой книгой, подготовленной Кошанским в Лицее, были “Басни Федра” - римского поэта I века нашей эры, считающегося основоположником литературной басни в римской поэзии. Напечатана книга в Петербурге в Медицинской типографии в 1814 году, а разрешение цензора И. О. Тимковского помечено 10 октября 1813 года. Посвящены “Басни” “Всепресветлейшему Державнейшему Великому Государю”.

Вслед за посвящением идет “Уведомление”, где Кошанский пишет о своей задаче: “...издать Федра... тексты на латинском языке с историческим комментарием и переводом сложных оборотов на русском языке”, т. е. книга была задумана как учебное пособие для изучения латинского языка и литературы. В помощь учащимся имелся вспомогательный словарь.

Билет на выход книги из типографии был выдан 21 августа 1814 года⁴¹. Вероятно, еще до получения билета Кошанский заготовил письмо на имя Разумовского. Написанное ясным и изящным, каллиграфически чистым почерком, без вольнодумных росчерков и других излишеств, это письмо может служить эталоном служебного почтения, выраженного средством каллиграфии. Содержание письма полностью соответствовало его оформлению:

Сиятельнейший Граф!

Окончив издание Федра по плану, Вашим Сиятельством изустно одобренному, имею счастье при сем представить оное и приемлю смелость утрудить Ваше Сиятельство удостоить сию книгу воззрения Всемилостивейшего МОНАРХА.

С чувством глубочайшего высокопочитания и совершенной преданности имею счастье называться,

*Вашего Сиятельства
Сиятельнейший Граф!*

*Августа дня
1814 года*

*Покорнейшим слугою
Николай Кошанский⁴².*

Содержание и стиль письма, подобно его каллиграфии, дышат чиновным благоговением и красноречием XVIII века, которые в середине александровского царствования были уже несколько старомодными, но тем не менее еще не стали вопиющим анахронизмом и не должны рассматриваться как нечто из ряда вон выходящее. И все же какой диссонанс с уважительной, но изящной и полной собственного достоинства деловой перепиской Пушкина, которому случалось, находясь в не менее сложной ситуации, чем его учитель, обращаться к высшим чинам империи и самому императору. Не писал уже в таком стиле и Куницын во время изытия “Права естественного”. Трудно представить себе подобный стиль у Дельвига, Пущина, Вяземского, а вот не менее свободомыслящий, пылкий и несколько старомодный Кюхельбекер

мог, пожалуй, обратиться подобным образом к человеку, которого он уважал глубоко и, самое главное, искренне.

Озабоченный Кошанский забыл поставить число на письме. Но наверху листа имеется канцелярская отметка: “августа 24 дня 1814”. Не сообразил Кошанский приложить к письму и экземпляр книги лично для министра: подписной экземпляр для Разумовского он направит позднее через Лицейскую Конференцию. Тем не менее, “Басни Федра” были, видимо, “удостоены воззрения” государя. Во всяком случае, в Российской национальной библиотеке в Петербурге хранится подносной экземпляр книги с экслибрисом библиотеки Эрмитажа, куда обычно направлялись “ученые” подношения царю. Впоследствии, уже в министерство Голицына, Кошанский был удостоен от царского имени обычного в таких случаях подарка - бриллиантового перстня. Но это уже случилось в 1817 году по совокупности за издание трех книг: “Басни Федра”, “Латинская грамматика (2-е издание)” и “Корнелий Непот”. Главной же своей цели - вернуться к преподаванию в Лицее - на этот раз Кошанскому добиться не удалось.

3 ноября 1814 года состоялось очередное заседание Лицейской Конференции, на котором числившийся больным Кошанский вроде как не присутствовал. Помимо уже упоминавшегося заявления Галича о невозможности для него продолжения преподавания в Лицее на это заседание, как гласит протокол: “Профессор Кошанский представил экземпляр изданных им Федоровых басен с прошением донести Его Сиятельству, дабы благоволено было взять для Главного правления училищ хотя 600 экземпляров”. В ответ на это прошение “Конференция, исходя сие издание полезным и прошение справедливым, полагает представить о сем благоусмотрение Его Сиятельства”⁴³.

На заседании Конференции 1 декабря 1814 года было объявлено согласие министра на покупку 600 экземпляров “Басен Федра”. Соглашаясь на покупку “Басен”, Разумовский одновременно осведомился о цене. В протоколе Конференции значится, что в ответ на вопрос министра Кошанский “объявил” цену 2 рубля за экземпляр без переплета. Возможно, Кошанский еще до этого заседания Конференции был ознакомлен с вопросом министра и дал свой ответ заблаговременно. Однако нельзя исключать, что хотя он и не назван в числе присутствовавших на Конференции, на заседании он все же был. Положение Кошанского в этот период было столь двусмысленно, что его, как больного, могли не включать в протоколы Конференции, а могли и не приглашать на заседание Конференции. Положение Кошанского, возможно, особенно

осложнялось вполне вероятными интригами пользовавшегося доверием Разумовского и добивавшегося директорства в Лицее Гауеншильда, которому Кошанский едва не перебежал дорогу в директорстве Благородного пансиона. Ведь в случае “выздоровления” Кошанского без каких-либо служебных взысканий, автоматически поднимался вопрос о том, кто будет исполнять обязанности директора Лицея.

Еще до того как Кошанский через Лицейскую Конференцию был официально уведомлен о согласии министра на покупку “Басен”, Разумовский отдал соответствующие распоряжения. Специально заведенное дело о покупке у профессора Кошанского 600 экземпляров изданных им “Басен Федра” открывается распоряжением министра от 25 ноября 1814 года, чтобы Главное правление училищ приняло у профессора Царскосельского Лицея Кошанского (несмотря на затянувшуюся “болезнь” он продолжал числиться по Лицею) 600 экземпляров книги по два рубля без переплета “так как книга сия признана весьма полезной для употребления по училищам”⁴⁴.

16 декабря смотритель книжного магазина Главного правления училищ рапортовал о получении всех шестисот экземпляров книги и в ответ получил предписание - купленные у профессора Кошанского 600 экземпляров книги пустить в продажу по цене 2 рубля 30 копеек, для чего “иметь надлежащее количество книг в переплете”. Для переплета книг в казенном учреждении потребовался почти год. Только 5 октября 1815 года Главное правление училищ было извещено, что все купленные “Басни” переплетены, на что ушло 120 рублей, т. е. по 20 копеек за экземпляр. Казенная торговля, конечно, не отличалась быстротой и разворотливостью, но имела и определенные преимущества перед частной. Никакой купец не удовлетворился бы барышом 10 копеек с экземпляра, которые не оправдывали даже книгопродавческих издержек. В те времена книгопродавческая скидка составляла никак не менее 20%, а, как правило, значительно больше. Имеются свидетельства, что по дороге от петербургского издателя до провинциального читателя книга иной раз дорожала втрое. Да и кто, кроме казны, рискнул бы купить 600 экземпляров учебной книги на латинском языке, сразу выплатив автору-издателю все деньги. Как и в случае с “Правом естественным” Куницына, впоследствии с книгами Кайданова и в других аналогичных ситуациях казенная торговля была тем поплавком, который удерживал на поверхности издательскую деятельность лицейских профессоров, позволяя сразу окупить расходы на печать и получить некоторую прибыль. И все же издание

Федра, наряду с большинством изданий других книг лицейских профессоров, было частным предприятием. На руках у Кошанского осталась большая часть тиража, которая понемногу приносила ему доход. Полный тираж книги был не менее 2 заводов (2400 экземпляров), а вероятнее всего, как и вышедших в 1816 году сочинений Корнелия Непота, - 3000 экземпляров.

15 июля 1815 года сменивший Галича адъюнкт-профессор Георгиевский через Лицейскую Конференцию запрашивает 29 экземпляров “Басен Федра” для воспитанников, поступивших на первый курс. Однако экономный министр, считая Федра не учебником, а лишь учебным пособием, разрешил купить только 15 книг, то есть из расчета 1 книгу на двоих лицеистов. Впоследствии такие запросы повторялись неоднократно. “Басни Федра” покупались и для Лицея и для пансиона по заказу Георгиевского и директора Благородного пансиона Гауеншильда и самого Кошанского. Так, например, 9 января 1817 года в журнале заседаний Лицейской Конференции значится: “Профессор Кошанский представил требуемые от него... книги: Корнелия Непота и Федра по 30 экземпляров каждой в полуфранцузском переплете. Причем изъяснил, что за сии книги следует ему получить сто пятьдесят рублей”⁴⁵. В феврале 1817 года в Благородный пансион вновь потребовались “Басни”, которые поручено было “доставить Кошанскому”, и причитающиеся ему деньги были выданы немедленно по получении книг.

Впоследствии “Басни Федра” было предложено официально ввести в число учебных книг. По всей вероятности, к этому побуждали не только 600 экземпляров “Басен”, купленных казной и не находивших спроса без рекомендации высших чинов министерства просвещения, но и качество книги. Тем более что она была увязана с учебником “Латинская грамматика”. В 1818 году, когда этот вопрос рассматривался в ученом комитете Главного правления училищ, книгу рассматривал А. С. Стурдза, который через три года выступит со своим проектом изучения “Права естественного”. Книга Кошанского получила одобрение. Вот что писал Стурдза в своем “Мнении”, датированном 30 апреля 1818 года: “Выбор басен и строг и чист. Изъяснение слов, выражений... в подлиннике обретаемых, удовлетворительно. Словарь, приобщенный сей книге, хорош и весьма способствует уразумению текста”. Далее Стурдза указывал на необходимость продолжать заготовление “апробированных и очищенных” учебных книг и всеми средствами возбудить рвение г. Кошанского, дабы он, ободренный начальством, посвятил часть времени и трудов своих прочим

латинским сочинениям... присовокуплю одно только примечание. Десятая басня 3-й книги под заглавием “De credere et non credere”, кажется, не совсем у места в очищенном издании, потому что она изображает происшествие, ужасающее злонравным подозрением и кровавою развязкою. Следственно надлежало бы оную при перепечатании выкинуть”⁴⁶. Замечание на счет этой басни, которая в русском переводе называется “О доверии и недоверии”, иногда рассматривается как одно из первых звеньев цепи гонений на русское просвещение времен конца царствования Александра I⁴⁷. Однако если обратиться к самой басне, где рассказывается с довольно натуралистическими подробностями о том, как вследствие коварного доноса отец убивает сына, а затем сам бросается на меч, то и современный читатель задумается, стоит ли знакомить подростка с этой басней.

Ученый комитет 1 мая 1818 года, заслушав “мнение” Стурдзы, определил: “Представить Главному училищ правлению, что комитет полагает ввести книгу сию в употребление в нижних учебных заведениях, где токмо преподается латинский язык”⁴⁸.

В свою очередь Главное правление училищ утвердило 26 июня мнение своего ученого комитета и разослало копии своего решения попечителям всех учебных округов империи. Это решение способствовало не только сбыту книги Кошанского, но и ознакомлению русского читателя с творчеством древнеримского поэта.

Вслед за “Баснями Фэдра” Кошанский подготовил второе издание “Латинской грамматики” по Бредеру (цензурное разрешение 17 июля 1814 года). По сравнению с первым изданием “Грамматики” второе было несколько пополнено. К своим прежним званиям “доктор философии” и “надворный советник” Кошанский не преминул добавить и профессора Лицея. В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге имеется экземпляр второго издания грамматики в марокеновом переплете с золотым тиснением и неразрезанными страницами. Судя по штампу Эрмитажной библиотеки, книга была поднесена кому-то из членов царской фамилии; скорее всего, как увидим позднее, самому Александру I.

28 февраля 1815 года Кошанский официально направляет в Лицей два экземпляра “Грамматики”: “один для Конференции, а другой для препровождения г-ну министру”. При этом автор-издатель просит конференцию “о представлении Его Сиятельству, не благоугодно ли будет, в облегчение моих издержек предписать Главному правлению училищ, взять хотя 600 экземпляров сей книги, коей цена два рубля без переплета”⁴⁹. Тираж книги был немалый,

по крайней мере 2 завода, то есть 2400 экземпляров. Почему Кошанский предлагает Главному правлению училищ только 600 экземпляров? Вряд ли он рассчитывал продать сам или через книготорговцев остальной тираж. Сам Николай Федорович, как и другие лицейские профессора, не был горазд в торговле. Что же до частных книготорговцев, то едва ли учебник латинской грамматики, к тому же не рекомендованный Главным правлением училищ, представлял для них значительный интерес. Сдать им несколько десятков, может быть, сотню книг на комиссию или продать такое же количество со скидкой 30-40% - вот на что реально мог рассчитывать Кошанский. Скорее всего, 600 экземпляров книги были пробным шаром в попытке продать казне основную часть тиража "Грамматики". Однако здесь Кошанский потерпел неудачу. 2 марта конференция, заслушав эту просьбу Кошанского и не высказав своего мнения, "положила представить на благоусмотрение Его Сиятельства". 8 марта состоящий "в должности директора Лицея" Гауеншильд обратился к министру по этому вопросу. Препровождая предназначенный Разумовскому экземпляр книги Кошанского, он излагал дело словами прошения Кошанского: "Не благоугодно ли будет в облегчение его издержек предписать Главному училищ правлению взять хотя 600 экземпляров сей его книги"⁵⁰. Ответ министра был отрицательным: "Не нахожу возможным предписать Главному училищ правлению, чтоб оно купило для училищ 600 экземпляров изданной профессором Кошанским "Латинской грамматики", ибо для сего употребления издана уже от правления учебная книга"⁵¹. Избалованный в Москве отношением почитателя Муравьева, Кошанский не проявил осторожности и предусмотрительности Кайданова, который задолго до окончания рукописи своей "Истории" сумел обрести расположение министра. Более того, судя по отсутствию каких-либо документов, он не брал, подобно Куницыну, для издания своей "Грамматики" никакой ссуды. Таким образом, вся стоимость тиража, составлявшего, вероятно, около 3000 экземпляров, должна была быть оплачена им из своих средств. Правда, небольшое количество экземпляров "Латинской грамматики" по мере надобности покупалось для нужд Лицея и пансиона по требованию адъюнкта Георгиевского, преподававшего русскую и латинскую словесность после того, как Галич добился у Разумовского увольнения из Лицея (о чем конференция Лицея была официально уведомлена 1 июня 1815 года). Так, например, зимой 1815/16 года состоялась покупка 21 экземпляра "Грамматики" для лицеистов младшего возраста. Однако такие мелкие партии (а они, как правило, были не больше) не могли

покрыть расходов на издание книги, и Кошанский настойчиво добивался покупки книги казной, тем более что первое издание “Грамматики” широко использовалось, хотя и без официальной рекомендации, в учебных заведениях, как светских, так и духовных. Так, 29 мая 1817 года на заседании Комиссии духовных училищ “докладывано” было, что новый министр просвещения Голицын “препроводил в комиссию... “Латинскую грамматику”, изданную профессором Лицея Кошанским, с тем не благоволит ли комиссия взять несколько экземпляров сей книги для подведомственных ей училищ ценою за каждый экземпляр по два рубля без переплета”. На заседании о книге было “рассуждено”: “Найдя ее полезной для учителей, обучающихся латинскому языку в уездных училищах... купить... 130 экземпляров сей книги, и разослать по два во все упомянутые училища”⁵². Хотя, конечно, уездные училища были одним из низших звеньев в системе народного образования, представляется значительным, что книга Кошанского, по которой занимались воспитанники Лицея, была признана пригодной в качестве учебного пособия для учителей уездных училищ. Из этого, однако, не следует делать поспешных выводов, что выпускник Лицея мог быть хорошим преподавателем латыни, хотя бы и в уездном училище.

Вероятно, второе издание “Латинской грамматики” таким большим тиражом было предпринято Кошанским в надежде на подобные предложения. Так в описи уничтоженных дел Ученого комитета Главного правления училищ сохранился “экстракт” по выписке из журнала комитета: “Профессор Царскосельского Лицея Кошанский издал “Латинскую грамматику с примерами для чтения по руководству Бредера”. Книга сия по требованию Киевской духовной академии и других училищ напечатана вторым изданием. Губернские директора училищ весьма часто относятся в Главное правление училищ о покупке оной для подведомственных им учебных заведений, из чего видно, что она входит по оным в употребление. В числе книг, изданных Главным правлением училищ для преподавания латинского языка, имеется грамматика под названием: “Латинская учебная книга”⁵³.

Ученый Комитет 15 мая 1818 года определил “обе эти книги представить рассмотреть и войти об оных с мнением в комитет члену Стурдзе”. Это было как раз в те майские дни, когда Стурдза у А. И. Тургенева познакомился с Пушкиным. Дальнейший ход дела в “экстракте” не описан.

В 1819 году Кошанский сумел продать казне оставшуюся у него часть тиража “Грамматики” вместе с другими бывшими у него

изданиями. Много позднее, в декабре 1825 года, 50 экземпляров “Латинской грамматики” было отправлено в Нежинскую гимназию, где в это время учился Н. В. Гоголь⁵⁴.

В конце зимы 1815 года одновременно с представлением вышедшего второго издания “Латинской грамматики” Кошанский обращается с одним прошением в Лицейскую Конференцию: предпринимая издание Винкельмана на “Российский язык, труд довольно важный и вместе требующий значущих издержек, кои превышают мою возможность, честь имею просить Конференцию о представлении господину министру, не благоугодно ли будет, в обеспечение моего труда, изъявить свое согласие и покровительство. Сей милости осмеливаюсь искать тем больше, что издание Винкельмана мне назначено было еще покойным товарищем министра просвещения Муравьевым, вместе с другими, из коих “Руководство к познанию древностей” и “Цветы греческой поэзии” уже изданы мною, а на сие не меньше полезное для россиян издание без воли Его Сиятельства, я отважиться не смею”⁵⁵. Это прошение, датированное 28 февраля 1815 года, было получено 1 марта, а уже 2 марта, одновременно с прошением о покупке шестисот экземпляров “Латинской грамматики”, было рассмотрено конференцией Лицея. Конференция благожелательно отнеслась к предложению Кошанского, но, естественно, сама решить в данном случае не могла ничего. Было “положено”: “Так как издание Винкельмана на российском языке есть дело немаловажное и требует действительно великих издержек, то Конференции по сему случаю ничего решительного положить не можно, а посему, сняв копию с сего отношения профессора Кошанского, подлинное препроводить господину министру и решение сего дела предоставить воле Его Сиятельства”⁵⁶.

Ответ министра был оглашен в заседании Конференции 6 апреля, вместе с ответом на предложение о покупке “Латинской грамматики”, и был также отрицательным. “Его Сиятельство не может одобрить намерение профессора Кошанского приступить к переводу творений Винкельмана, ибо сие пространное сочинение может быть покупаемо только для больших библиотек, для коих предпочтется подлинник переводу; притом Его Сиятельство, не находя нужным ввести оное творение Винкельмана в употребление в училищах, не имеет и другой суммы, из коей можно бы было сделать Кошанскому пособие к изданию его перевода”⁵⁷. 7 апреля решение министра было сообщено Кошанскому, и более вопрос о переводах сочинений известного немецкого археолога и историка искусства XVIII века не возникал. Уж если министерство не

рисковало взяться за многотомное издание Винкельмана, то что можно было ожидать от частных издателей и книготорговцев, искавших скоротечной выгоды. Своих же средств у Кошанского было немного, к тому же часть их была вложена в еще не разошедшиеся издания, да и неопределенность его положения в Лицее в это время побуждала его не рисковать последним.

Что касается соображений министра, то Разумовскому нельзя отказать в логике и предусмотрительности. Действительно, круг потенциальных покупателей многотомного издания сочинений Винкельмана был в то время в России весьма ограничен. Хотя в Лицее, например, книги Винкельмана использовались как учебные пособия, но нельзя забывать об исключительности самого Лицея. А соображения Разумовского о том, что возможный покупатель предпочтёт подлинник, не бесспорно: высокообразованный человек, Разумовский не принял в расчет, что иностранные языки были не так уж распространены в России в среде среднего сословия. Безусловно, в качестве министра граф Разумовский должен был блюсти казенный интерес, но если учесть, что его “ведомством” было просвещение, то позиция М. Н. Муравьева, на которого ссылался в своем прошении Кошанский, была более глубокой и дальновидной. Кроме того, надо иметь в виду, что Михаил Никитич Муравьев, принадлежа к аристократическому кругу, по духу своему и взглядам был гораздо демократичнее Разумовского.

Вслед за “Баснями Федра” и вторым изданием “Латинской грамматики” Кошанский готовит книгу римского историка Корнелия Непота. Разрешение цензора Тимковского имеет дату 19 января 1815 года. Напечатана книга, как “Басни Федра” и 2-е издание “Грамматики”, в петербургской медицинской типографии. Билет на выход из типографии зарегистрирован в книге Цензорного комитета 2 июня 1816 года⁵¹. Посвящена книга “с глубочайшим благоговением к Александру I. Тираж книги, как указывал впоследствии сам Кошанский, “простирался” до 3000 экземпляров⁵². Как и остальные книги Кошанского в бытность его в Лицее, “Корнелий Непот” печатался за его счет, т. е. автор-составитель выступал одновременно и в роли издателя. Правда, И. Селезнев в своей обширной и весьма точной истории Лицея утверждает, что книги Кошанского печатались для Лицея и на его счет⁶⁰. Однако это представляется весьма сомнительным. Во-первых, в лицейском архиве не нашлось никаких материалов об отпуске денег на печатание, хотя в других случаях (книги Кайданова, Куницына) такие документы сохранились. Во-вторых, Кошанский все время оставался владельцем тиража, неоднократно продавая небольшие

партии книг для нужд Лицея и стараясь сбыть остаток тиража Главному правлению училищ.

Полное название книги звучит так: “Корнелий Непот, о жизни славнейших полководцев. С замечаниями, хронологической таблицей и двумя словарями: 1) для географии, 2) для слов. Издание учебное, очищенное Н. Кошанского, доктора философии, надворного советника и профессора Лицея”. “Очищенное” в данном случае следует понять как сокращенное и адаптированное для юношества. Характерно, что и на титульном листе и на листе посвящения царю Кошанский именуется лишь “издателем”, избегнув соблазна назваться автором или соавтором древнего историка, хотя на деле он был именно автором учебной книги по сочинению Непота. Тексту книги предшествуют “замечания для учащихся”, помещенные на нумерованной странице. В этих замечаниях Кошанский тесно увязывает новую книгу с вышедшими ранее пособиями по латинскому языку. “Все параграфы в замечаниях служат к объяснению грамматических и синтаксических правил и ссылаются на “Латинскую грамматику”, изданную мною первым тиснением в Москве, 1811 года; а вторым - в С.-Петербурге, 1815. К сей же “Грамматике” приспособлено будет и мое второе очищенное издание Федоровых басен”. Таким образом, быть может, не без участия М. Н. Муравьева, было задумано и осуществлялось издание комплекса учебных пособий, способствовавших овладению языком Древнего Рима и изучению его истории и литературы. Такой подход Кошанского существенно отличается от метода других авторов как в Лицее, так и за его пределами. Обычным тогда было издание отдельного учебника, хотя бы в нескольких частях, как это было у Кайданова и Куницына. Своим комплексным подходом к изучению предмета Кошанский намного опередил большинство современных ему авторов, предвосхитив многое во взглядах потомков на педагогический процесс.

Впоследствии родившийся в 1818 году историк и филолог - педагог Ф. И. Буслаев, подобно Кошанскому, соединял уроки истории с изучением языка, стилистики и литературы.

Трудно сказать, кому принадлежит выбор именно сочинений Непота в качестве учебного пособия для Лицея. Известно только, что заменявший Кошанского в 1814-1815 годах Галич пользовался Непотом, хотя это не было специальное учебное издание. На протяжении второй половины XVIII - начала XIX века Непот в России на латинском языке издавался неоднократно. И знаменитое “потрепем старика” Галича относилось к какому-то другому изданию Корнелия Непота, а не к книге Кошанского, как утвержда-

ют некоторые авторы. Сменивший Галича Георгиевский в связи с вступлением новых воспитанников летом 1815 года также просит купить 21 экземпляр Корнелия Непота, видимо, того же издания, что использовалось при Галиче. Однако тогда куплено было с разрешения министра только 10 книг⁶¹. Самый же выбор этого автора, где даются биографии 25 полководцев древности: Мильтиада, Фемистокла, Аристида, Ганнибала и других, давал учащимся возможность не только практиковаться в латинском чтении, но и существенно расширить свои познания в области древней истории.

Вообще же Кошанский широко пользовался при преподавании текстами античной литературы. Так, 19 декабря 1817 года он обращается в Конференцию с просьбой купить по 25 экземпляров книг Вергилия и Овидия. На что Конференция решает купить “на первый случай” 25 экземпляров Овидия. Хотя это обращение относится уже к послепушкинскому времени, но, без сомнения, сочинения древних авторов использовались при обучении Кошанским и до того.

Министерство просвещения и само стремилось напечатать для своих нужд латинских классиков. Так еще в 1813 году было приступлено к изданию тиражом 1200 экземпляров сочинений Горация⁶². Кошанский тогда в этой работе не участвовал. Позднее, в 1818 году, была предпринята попытка привлечь Кошанского к этой деятельности. 28 августа 1818 года министр А. Н. Голицын сообщил Е. А. Энгельгардту о принятии Главным правлением училищ книг Кошанского в качестве учебников, одновременно объявлял ему, что по ведомству Департамента народного просвещения “положено издать” отборные сочинения Цицерона, Тита Ливия, Квинта, Теренция, Плавта, Сенеки, Тацита, Овидия, Горация и Вергилия, согласив на сие профессора Кошанского, коего учебным изданиям сего рода Главное правление училищ отдает всю справедливость”⁶³. Далее в том же письме Голицын просил предложить Кошанскому “не согласится ли он принять на себя издание отборных сочинений упомянутых классиков”. Как видим, Кошанский-латинист в глазах начальства к этому времени уже имел авторитет и при выборе возможных исполнителей большой работы по подготовке учебных изданий латинских авторов получил неоспоримый приоритет. Подготовленные книги Кошанский обязывался представлять на рассмотрение ученого комитета Главного правления училищ, который должен был распоряжаться изданием книг. Это предложение было передано Кошанскому 5 сентября, а уже 25 сентября Энгельгардт получил ответ Кошанского. “Честь имею донести Вашему Превосходительству, что из числа авторов,

назначенных Главным правлением училищ к изданию... охотно приемлю на себя издать сначала Вергилия, по приготовлении коего к напечатанию, не премину представить предварительно на усмотрение ученого комитета Главного правления училищ"⁵⁴. Этот ответ Энгельгардт в тот же день отправляет на "благоусмотрение" министра. Министр спустил бумагу в Главное правление училищ, которое решило, что ученый комитет должен рассматривать новые книги Кошанского и решать, следует ли принимать их издание на счет казны⁵⁵.

8 января 1819 года Голицын в письме Энгельгардту слово в слово повторяет конкретные условия предполагаемого издания, которые были выработаны в совете министерства - Главном правлении училищ: "По представленному Вашим Превосходительством от 25 сентября 1818 года отзыву профессора Кошанского, касательно принимаемого им на себя сначала издания отборных латинских стихотворений Вергилия, а потом и других латинских классиков... предложить профессору Кошанскому, что буде он хочет, то заготовленные им к изданию впредь книги латинских классиков представлял бы прежде на рассмотрение ученого комитета, который и будет объявлять ему по каждой книге, согласится ли принять на свой счет издание оных для учебных заведений"⁵⁶.

Вергилия, однако, Кошанскому так и не довелось издать, а Корнелия Непота лицеисты получили. Сразу по выходе Непота Кошанский препровождает экземпляр книги в Лицейскую Конференцию, с тем что "не благоугодно ли будет" представить Главному правлению училищ "взять сей книги яко учебной тысячу экземпляров по два рубля без переплета, каковое пособие, в облегчение моих издержек, я почту и за труды наградой"⁵⁷. Это предложение Кошанского рассматривалось 17 июня 1816 года, причем было "положено" "представить о сем господину министру с донесением, что конференция... книгу находит весьма полезною". В свою очередь Разумовский 4 августа предлагает Главному правлению училищ принять от Кошанского книги "с уплатою за каждый экземпляр без переплета по два рубля, ...и потом книги сии разослать к директорам училищ для продажи и возвращения таким образом денег, которые имеют быть употреблены на сию покупку"⁵⁸. Только в мае 1817 года, констатируя, что купленные книги наконец переплетены (это обошлось по 30 копеек за экземпляр), министерство определяет книгу пускать в продажу по 2 рубля 50 копеек за экземпляр, о чем дать знать смотрителю книжного магазина, разослать в подведомственные учебные заведения по одному экземпляру, а остальное пустить в продажу в лавке⁵⁹.

Одновременно с продажей партии в 1000 экземпляров книга Непота запрашивается для Лицея. В начале сентября 1816 года, еще до возвращения Кошанского к преподаванию в Лицее, адъюнкт-профессор Георгиевский запрашивает 21 экземпляр книги Непота для лицейстов младшего возраста. В декабре 1816 года возобновивший занятия Кошанский требует для воспитанников Благородного пансиона по 21 экземпляру “Басен” Федра и книги Непота. В дальнейшем подобные требования от Кошанского или его адъюнкта Георгиевского поступали неоднократно. Причем книги, как правило, поступали от самого Кошанского и в виде исключения из той части тиража, которая была продана Главному правлению училищ. В 1818 году “Корнелий Непот” был назначен учебным изданием для высших классов латинского языка. А еще в самом начале 1817 года исправляющий должность министра просвещения князь А. Н. Голицын прислал в Лицей два бриллиантовых перстня, которые Александр I по его докладу пожаловал профессору Кайданову за учебник “Основания всеобщей политической истории” и профессору Кошанскому “за издание книг Корнелия Непота, “Басней” Федра и латинской грамматики”⁷⁰. Таким образом, в первые же месяцы министерства Голицына, еще до окончательного его утверждения в должности министра, дела Кошанского круто пошли в гору: он был возвращен к преподаванию в Лицее, книги его широко покупались казенной книжной лавкой и за свою авторскую, и издательскую деятельность он был удостоен почетной царской награды. В эти годы Кошанский, не будучи вхож в круги петербургского света, становится заметной фигурой в среде петербургской интеллигенции. Характерно, что в конце десятых годов он был “витией” в масонской ложе “Избранного Михаила”, которая была теснейшим образом связана с декабристским “Союзом благоденствия”. К этой ложе в конце второго десятилетия века принадлежали почетный член Академии художеств Ф. П. Толстой, художественный критик В. И. Григорович, поэты и публицисты Ф. Н. Глинка и А. Е. Измайлов, журналист Н. И. Греч, будущие декабристы Н. А. Бестужев, В. К. и М. К. Кюхельбекеры, Г. С. Батеньков, профессор К. И. Арсеньев, адъюнкт И. И. Давыдов, А. А. Дельвиг и ряд других весьма значительных лиц из круга столичной интеллигенции.

Активно участвует Кошанский и в занятиях “Ученой республики” - вольного общества любителей российской словесности. 7 марта 1821 года в заседании общества он читает “Взгляд на историю искусства”. В этот же день Н. А. Бестужев читает отрывок об Амстердаме из своих “Записок о Голландии 1815 года”. 28 марта

Кошанский становится действительным членом общества, а Н. А. Бестужев - членом-сотрудником. К этому времени, по всей вероятности, относится и его дарственная надпись на только что вышедших "Записках о Голландии 1815 года": "Николаю Федоровичу Кошанскому от сочинителя". Эта книга, несколько лет назад обнаруженная в фондах Новгородского музея-заповедника, свидетельствует, что между завтрашним историографом флота и профессором Лицея существовали достаточно близкие приятельские, а быть может, и дружественные отношения.

Продолжается в это время и публицистическая деятельность Кошанского, которая развивалась в основном русле его ученых занятий.

Тремя книгами, за которые Кошанский был удостоен бриллиантового перстня, не ограничились его труды по созданию латинских учебников и пособий.

В дополнение к этим книгам в 1817 году Кошанский переиздал выходившие дважды еще в Москве "Таблицы латинской грамматики". Это издание по сравнению с предыдущим было сильно сокращено за счет примеров грамматического разбора и словаря и имело всего 16 страниц против 46 (без титульного листа). "Таблицы" - гласил титульный лист - были изданы "для воспитанников Императорского Царскосельского Лицея и его пансиона". Книга имеет цензурное разрешение от 20 апреля 1817 года. А 4 сентября того же года, когда пушкинский выпуск уже покинул стены Лицея, Кошанский, как отмечено в протоколе конференции, доставил 400 экземпляров "Таблиц" по цене 18 копеек⁷¹. По-видимому, это был если не весь тираж книги, то, по крайней мере, его большая часть.

В 1817 году выходит "Ручная книга древней классической словесности, содержащая

I. Археологию,

II. Обзорение классических авторов,

III. Мифологию,

IV, V. Древности греческие и римские,

собранные Эшенбургом, умноженная Крамером и дополненная Кошанским".

В предисловии к первому тому Кошанский, кратко излагая историю знакомства России с античной словесностью, среди ее покровителей в XVIII веке называет И. И. Шувалова, М. М. Хераскова, М. Н. Муравьева. Особо выделяет Кошанский роль своего покойного покровителя: "Муравьев составил при Московском университете общество для издания главнейших классиков; и

некоторые изданы, но смерть похитила сего мужа, коего память священна для всех любящих добро и науки”⁷². Таким образом, “Ручная книга” была продолжением предыдущих книг Кошанского, посвященных античной словесности, которые он начал издавать еще в Москве. Задачей книги, продолжал в том же предисловии Кошанский, было представить “в учебном виде, систематически, кратко и ясно, картину всех искусств и наук, коими занимались древние”. Характер своих дополнений Кошанский пояснял так: “Заметив важное пропущение всего, что сделано по части древней словесности в России, я дополнил оное показанием изданий и переводов, напечатанных в нашем Отечестве, и в сем случае немало обязан трудам г. Сопикова”⁷³. Предисловие это помечено 7 февраля 1816 года, сам первый том имеет цензурное разрешение от 21 марта 1816 года. Второй том имеет разрешение цензора от 12 сентября 1817 года. Хотя основной темой “Ручной книги” были “Искусства и науки” античного мира, история античного общества в ней порой заслоняла историю искусства и науки, тесно переплетаясь с “Историей” Кайданова. Так, в разделе “Греческие древности” Кошанский следующим образом характеризует древнейшие греческие государства: “...царская власть в сем периоде была не что иное, как неограниченное самодержавие”⁷⁴. Однако впоследствии “правительство греков подвергалось многим изменениям и почти везде соделалось демократическим”⁷⁵. В 1833 году А. В. Никитенко, словно имея в виду книгу Кошанского, вспоминал, что было время, когда “Магницкие и Руничичи требовали, чтобы... преподавая историю, говорили бы, что Греция и Рим вовсе не были республиками, а так чем-то похожим на государство с неограниченной властью, вроде турецкой или монгольской”⁷⁶. Однако Кошанский здесь ни при чем. Его “Ручная книга” успела выйти до того, как деятельность “Магницких и Руничичей” достигла своего апогея. Выйди же книга двумя-тремя годами позже, вполне возможно, что Кошанский разделил бы судьбу Куницына.

Вслед за “Ручной книгой” Кошанский готовит учебник “Священной истории”, которая вновь находится на границе изящной словесности и истории. Эта книга, вероятно, была начата Кошанским тоже до возобновления преподавания в Лицее, но увидела свет много позже, когда пушкинский курс уже покинул Лицей (цензурное разрешение от 4 июля 1817 года). Тем не менее история издания этой книги представляется небезынтересной, так как в ней слышатся первые порывы той бури, которая немного позднее пронеслась над Куницыным.

“Священная история” еще до выхода в свет была признана пригодной как учебное пособие для низших классов латинского

языка (Кошанский в данном случае чутко уловил конъюнктуру голицынского министерства, перейдя от латинских авторов к Библии).

Как видно из справки Главного правления училищ от 26 июня 1818 года, оно “согласно с представлением Ученого комитета, назначив книгу сию для низших классов латинского языка, сделало надлежащее распоряжение касательно введения сего сочинения в употребление по учебным заведениям по напечатании оногo”⁷⁷. Одновременно встал вопрос о повторном издании “Сокращенной священной истории”, которое бы более полно соответствовало своему назначению как учебная книга. В поданном в связи с этим объяснении Кошанский трактовал свою книгу прежде всего как учебную, снабдив ее словарем, знаками, обозначающими длину слога, а также ссылками на правила синтаксиса и грамматики из своей “Грамматики”.

Поскольку речь шла не только об учебном пособии для изучения латыни, но и о трактовке Священного писания, Ученый комитет Главного правления 24 августа 1818 года определил “издание сие предоставить рассмотрению г. члена отца архимандрита Иннокентия”, который обязывался представить письменное “мнение”. Православная церковь манифестом Александра I от 24 октября 1817 года была на правах, не превышавших права департамента, подчинена министру духовных дел и народного просвещения. Эта реформа была болезненно воспринята многими иерархами церкви, и они особенно ревниво относились ко всякому вторжению светских властей в дела своего ведомства. Инспектор Петербургской семинарии доктор богословия Иннокентий (Смирнов) был известен как проповедник истории и богослов. В этих своих качествах он должен был хорошо владеть латынью, но латинистом не был. У него, как у крупного деятеля церковного образования, были некоторые связи с Лицеем. Известно, например, что он присутствовал в Лицее на экзаменах по закону Божьему. Кроме того, он был членом духовной цензуры, и обращение к нему ученого комитета представляется логичным. Однако, чтобы полнее представить себе этого человека, заметим, что Иннокентий пользовался благосклонностью пресловутого архимандрита Юрьева монастыря Фотия и был в оппозиции “Библейской” деятельности Голицына, который в 1818 году и удалил его в Пензу. После смерти Иннокентия в конце 1819 года Фотий прислал в библиотеку Пензенского кафедрального собора рукописное “Сказание о житии и подвигах блаженного Иннокентия”. Фанатичный Фотий, как

известно, был в авангарде врагов “сына беззакония” Голицына, терпимо относившегося к различным направлениям христианства.

Мнение Иннокентия и о книге, и о ее авторе было крайне отрицательным. Приведя убедительный, как ему казалось, пример богословской ограниченности автора, который счел возможным к словам “в первый день Бог сотворил свет” не давать никаких пояснений, Иннокентий обвинял Кошанского в корыстолюбии и чуть не вымогательстве. “Для показания грамматических правил, находящихся в самом тексте Истории, сделал (Кошанский. - М. Л.) указание на параграфы своей “Грамматики”. Следственно сие издание полезно будет только там, где есть грамматика сего издания, а в других местах все его указания, внизу каждой страницы напечатанные, излишни”. Обвинив Кошанского в желании “торговать своими книгами и просвещением, когда одною книгою своею ищет места и расхода другой своей книге”, Иннокентий заключал: “Такое корыстолюбие в учителе, усердном Отечеству, не должно иметь места”⁷³. Таким образом, в комплексе учебников для изучения латыни Иннокентий увидел лишь корыстный расчет Кошанского. Поставив под сомнение целесообразность даваемых Кошанским грамматических комментариев, рецензент, переходя к словарям книги, прямо обвиняет автора в невежестве. “Стоит только раскрыть какую-нибудь одну страницу, и тотчас откроется неверность и неправильность перевода”, - писал Иннокентий. Кончал свой отзыв Иннокентий так: “В издании сей книги одобрить можно выбор, который, впрочем, не принадлежит г. издателю, а есть список с напечатанной уже давно Священной истории г. Ломонда. Все прочее не токмо не стоит быть принято в училище, но, судя по справедливости, не стоит и напечатания. Такие незрелые издания называть учебными... оскорбительно всему общему сословию Российского просвещения”⁷⁹. Вероятно, огульную критику Иннокентия не следует относить лишь к его обиде и недовольству, видимо, здесь столкнулись две педагогики, две школы - школа богословия и школа академическая. Характерно, что Иннокентий почти не затрагивал богословских вопросов, которые легко могли возникнуть при рецензировании “Священной истории”. Так, он оставил без всякого замечания последнюю главку книги, где говорилось о рождении Иисуса Христа через 4000 лет после сотворения мира, в то время как православие испокон века считало интервал между этими событиями 5508 лет.

Впрочем, в этом “учебном издании”, как было обозначено в заголовке, многое могло вызвать недоумение и возмущение рьяных начетчиков. Чего стоит одна виньетка на титульном листе “Священ-

ной истории”, где в качестве важнейших атрибутов помещены глобус и зрительная труба.

Ознакомившись с мнением архимандрита, ученый комитет 7 сентября 1818 года предложил напечатать книгу “по изданию г. Ломонода без всяких примечаний с присовокуплением только одного словаря с переводом собственных значений слов... предоставляя профессору Кошанскому или кому-либо другому издание сей книги на таком основании”⁵⁰. Таким образом, не приняв обвинений Кошанского в “невежестве и корыстолюбии”, ученый комитет предпочел по возможности сгладить острые углы, выбросив спорные места. В общем можно считать, что поле боя осталось за Иннокентием, так как педагогические положения Кошанского были отвергнуты и даже возник вопрос о том, чтобы предоставить издание “кому-либо другому”, хотя Кошанский здесь выступал не коммерсантом-издателем, а прежде всего автором учебного пособия.

Мы не знаем, дошел ли до Кошанского уничтожительный отзыв Иннокентия. Вероятно, до какой-то степени он стал ему известен. Но в официальном письме министра Голицына Энгельгардту от 8 января 1819 года мнение о книге, подготовленной Кошанским, излагалось довольно деликатно: “Издание сие, в рассуждении помещенного в приложении при нем словаре перевода слов на Российском языке в несобственном значении и по некоторым излишним примечаниям, не может удобною быть учебною книгою”⁵¹. В этом письме Голицын поручил Энгельгардту предложить Кошанскому подготовить “Священную историю” “без всяких примечаний присовокуплением, впрочем, словаря, для большей пользы учащихя, с российским переводом одного собственного токмо значения слов”. Кошанскому ничего не оставалось, как подготовить рукопись “на основании, означенном в положении ученого комитета”. Тем не менее в письме от 30 ноября 1819 года, отправляя готовую рукопись Голицыну через Энгельгардта (Иннокентия в это время уже не было в живых), Кошанский предпринимает последнюю попытку убедить высшее начальство, что “Историю” следует издать именно так, как она была им задумана. Он считал, что прилагаемый словарь собственных значений слов “без значений и выражений, находящихся в книге, мало будет полезен, ибо угадывать неопытному производное значение слов не только трудно, но и не надежно. Осмеливаюсь остаться в прежнем мнении, что первое издание сей книги несравненно полезнее для учащихя, нежели изготовленное мною нынче. Почему прилагая при сем экземпляры и первого издания для

сравнений, прошу Ваше Превосходительство представить обе сии книги и мнение мое на благоусмотрение Его Сиятельства господина министра”⁵².

Изданное по “определению” ученого комитета второе издание “Священной истории” имеет на титульном листе дату “1824”. Книга, уменьшенного по сравнению с первым изданием объема, печаталась в той же типографии Департамента народного просвещения около пяти лет. Не исключено, что эти события надолго отбили у Кошанского желание выпускать новые учебники, и в ближайшие годы (вплоть до написания “Риторик”) он предпочитал переиздавать наиболее удачные из старых книг, которые пользовались спросом.

В общем, надо сказать, что, оказавшись замешанным подготовкой “Священной истории” в богословские дела, Кошанский дешево отделался. В разворачивавшейся в эти годы свистопляске мистицизма, обскурантизма и благочестия высшие чины Министерства просвещения и духовных дел совсем потеряли головы. Взаимные обвинения в кощунстве, святотатстве и недостаточном рвении в православии сыпались как из рога изобилия. Ничего не стоило обвинить в этих грехах автора любого сочинения, затрагивавшего вопросы богословия. Достаточно сказать, что более двух лет (с января 1821 года по сентябрь 1823 года) тянулось дело о напечатании переведенного пресловутым почитателем Казанского учебного округа и членом Главного правления училищ М. А. Магницким “Наставления в Священной истории и догматах веры”⁵³ по его заявлению, “совершенно согласенных с учением церкви нашей”. И “Священная история” Магницкого и подготовленный им “Исторический Катехезис” застряли между светской и духовной цензурами и напечатаны так и не были.

Переводом “Священной истории” на долгое время обрывается список учебников и пособий Кошанского. Вряд ли единственной причиной этого длительного перерыва было “помрачение” атмосферы в последние годы александровского царствования. Ведь занимавшийся гораздо более скользким предметом Кайданов, несмотря на все сложности и препятствия в эти годы, активно писал и издавал свои учебники истории. Можно понять замолчавшего Куницына, но Кошанский, как мы показали, ни с одной своей книгой не попал в ситуацию, подобную катастрофе, постигшей “Право естественное”. Скорее всего, основной причиной “молчания” Кошанского была его активная деятельность педагога-практика в эти годы. С другой стороны, подготовка “Риторик” требовала немалого времени и не была единственной заботой Кошанского. К 1829 году, например, относится дело о введении в приходских

училищах “Букваря” Кошанского”. Подвигалась тем временем и карьера. Профессор Лицея, член Комитета для рассмотрения учебных книг в Пажеском и Кадетском корпусах, в 1824 году Кошанский получает назначение директором Института слепых Императорского человеколюбивого общества, само название которого вызывало насмешливое недоумение Пушкина.

До 1828 года он при этом сохраняет за собой кафедру в Царскосельском Лицее, где никаких шансов, как показало время, сделать административную карьеру у него не было. Трудно сказать, что бы еще написал Кошанский, ведь он умер в 1831 году во время холерной эпидемии, но и написанное им за три десятилетия его педагогической деятельности дает нам все основания видеть в нем значительную фигуру русской педагогической науки.





"ГРАММАТИКИ" ДАВИДА ДЕ БУДРИ

Из шести основных преподавателей Лицея пушкинских времен Давид Иванович де Будри был старше всех. В 1811 году ему исполнилось 55 лет. Родиной его был небольшой швейцарский городок Будри в Невшатальском кантоне на самой границе с Францией.

Отца его, выходца из Италии, носившего фамилию Марат, обычно называют бедным чертежником и рисовальщиком; ставшим впоследствии преподавателем иностранных языков¹. Однако в послужном списке Д. И. де Будри, составленном в 1821 году, отец его значится как доктор медицины и философии, учитель древних языков и философских наук². Хотя у коллежского советника (полковника) русской службы могли быть основания несколько приукрасить свое происхождение, опровергнуть эту официальную запись можно только на основании достаточно веских документов.

Будущему де Будри было всего три года, когда его старший брат Жан Поль Марат шестнадцати лет покинул родительский дом. Но общение братьев не прерывалось; они изредка виделись и часто переписывались. В 1784 году, когда Жан Поль был еще благополучным ученым и публицистом, младший Давид после участия в Женевском восстании принял предложение русского вельможи В. П. Салтыкова стать воспитателем его детей и навсегда уехал в Россию. В это время швейцарцы входили в моду и теснили

французских учителей в высшем обществе. Достаточно вспомнить главного наставника будущего Александра I - швейцарца Лагарпа, приглашенного Екатериной II. Вес В. П. Салтыкова и значение его частного предложения были столь велики, что в 1821 году его без тени сомнения удостоверили в официальном послужном списке директор Лицея Е. А. Энгельгардт и конференц-секретарь И. К. Кайданов.

В семье В. П. Салтыкова Давид Марат прожил до 1795 года. По-видимому, службу в этом доме он совмещал с занятиями в других семьях, а с 1795 по 1803 год "посвятил себя наставлению юношества в пансионах и частных домах". Имя де Будри упоминается в мемуарах его бывших учеников, некоторые из которых достигли впоследствии больших служебных высот. Среди частных домов, где подвизался де Будри, был, видимо, и дом Н. И. Салтыкова, осуществлявшего с 1783 года по поручению Екатерины II надзор за воспитанием своих внуков Александра и Константина, которых бабушка стремилась как можно больше разобщить с родителями. Выполняя щекотливое поручение императрицы, искусный царедворец Н. И. Салтыков, ставший вскоре графом, а впоследствии и князем, сумел сохранить доверительные отношения и с матерью своих воспитанников, женой будущего Павла I, Марией Федоровной. До последних дней своей жизни (он умер в 1816 году) сохранил Н. И. Салтыков и расположение Александра I. Среди других учеников Давида Ивановича был юный Николай Гончаров - будущий тесть А. С. Пушкина.

Давид Марат, ставший с высочайшего дозволения Давидом Ивановичем де Будри, занимаясь преподаванием, не чуждается и коммерции. При Павле I он вместе с компаньоном заводит фабрику "золотой и серебряной материи", но вследствие того, что император "благоволил внезапно воспретить золотое и серебряное дамское платье", новоявленный заводчик, не успев разбогатеть, разорился. Не обращаясь к милости монарха, как это было принято в таких случаях, он вернулся на преподавательскую стезю, стал искать протекции у императрицы Марии Федоровны.

Через нее и получил в 1803 году де Будри место в Институте благородных девиц ордена Св. Екатерины. Подобно своему старшему собрату, Смольному институту, Институт св. Екатерины предназначался для дворянских дочерей и находился под покровительством своей основательницы, тогда уже вдовствовавшей императрицы Марии Федоровны.

Служба в Екатерининском институте не заставила де Будри оставить частные уроки. Так, как раз осенью 1803 года, когда он

снял новую квартиру, хозяйка дома, узнав, что имеет дело с учителем, преподающим французский язык в лучших домах Петербурга, нанимает его для подготовки своих сыновей в Пажеский корпус. Один из этих учеников де Будри, будущий начальник 2-го кадетского корпуса, а затем Виленский генерал-губернатор Ф. Я. Миркович, очень тепло вспоминает его в своих мемуарах. “Он был первым моим умственным образователем, и к которому я всегда имел глубокую признательность и уважение”. И далее: де Будри “положил во мне твердое основание знанию французского языка, ознакомил с современной и прошлой литературой и развивал наши умственные понятия. Он преподавал нам историю и географию и любовался нашими успехами”³. Эти занятия продолжались до весны 1805 года, когда братья Мирковичи поступили в 3-й класс Пажеского корпуса. Примерно в это же время де Будри сближается с семейством своего будущего ученика в Царскосельском Лицее Вильгельма Кюхельбекера.

В Екатерининском институте де Будри, как свидетельствует все тот же послужной список, учил девиц своему “природному” французскому языку и переводу с русского на французский. Казалось бы, заурядная судьба заброшенного в Россию француза, главным капиталом которого было знание родного языка. “Каждый иностранец, только бы он не говорил по-русски, у нас получает полное право на воспитание детей”, – писал впоследствии художник граф Ф. П. Толстой, человек глубокого ума и широкого образования⁴. Но здесь следует иметь в виду, что ни принадлежавшие к высшей знати Салтыковы, ни тем более императорское учреждение не взяли бы на службу к себе случайного проходимца лишь за то, что он свободно говорит по-французски.

Русская мемуарная и художественная литература XIX века, в значительной степени созданная бывшими учениками учителей из иностранцев, донесла до наших дней обширный свод критических и сатирических характеристик легковесных педагогов. Мы же воспользуемся сугубо деловым письмом человека начала XIX века, решающего практический жизненный вопрос. В 1816 году К. Н. Батюшков, озабоченный продолжением образования своего племянника, так характеризовал домашних учителей из иностранцев в письме его родителям, просившим приискать подходящую кандидатуру: “За тысячу будет пирожник, за две – отставной капрал, за три – школьный учитель из провинции, за пять, за шесть – аббат. А я за них за всех на выбор гроша не дам...”⁵ В отличие от большинства служивших на Руси иностранцев де Будри получил серьезное и систематическое образование: после длительного обучения в гимна-

зии он 8 лет провел в Женевской академии, где изучал словесность, философию, геометрию, физику и из стен которой вышел кандидатом теологии. Впоследствии в Лицее де Будри вел не только французскую словесность, но и некоторое время заменял болеешего латиниста Кошанского. Что же до его политических взглядов, то, как считали люди его знавшие, хотя он не разделял “крайностей” и “свирепости” своего старшего брата, но и не скрывал своих республиканских убеждений. Не скрывал он и своего родства с вождем якобинцев.

Отношение его к брату так оценил учившийся у него Пушкин: “Он очень уважал память своего брата...” и далее: “Он рассказывал... многое о его добродушии, любви к родственникам, еус., etc.”⁶

Фамилию же свою Д. Марат на “де Будри” он сменил по высочайшему разрешению Екатерины II в 1793 году, когда это имя стало слишком одиозным и для Европы, и для России.

В 1806 году, не оставляя Екатерининского института, де Будри поступает учителем в Петербургскую губернскую гимназию и в том же году приносит присягу на русское подданство. Следует попутно отметить, что хотя де Будри владел русским языком, но до конца своих дней официальные служебные бумаги составлялись им на французском языке. Все это время он пользовался покровительством императрицы Марии Федоровны, получая от нее подарками-награды: золотые часы, табакерку за свою педагогическую деятельность в Екатерининском институте. По представлению Марии Федоровны он получает чин IX класса, она же, видимо, протезировала и его переход в Лицей. Все это, вероятно, и дало повод Пушкину впоследствии отметить, что Будри “несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный”⁷. Однако поэт был здесь не совсем прав. Конечно, по сравнению с бывшими семинаристами и студентами молодыми Куницыным, Кайдановым, Карцовым и чуть более бывалым Кошанским, Будри был неизмеримо многоопытнее и искуснее в общении с высшими мира сего. Однако за более чем 35 лет жизни в России он не сделал блистательной карьеры и не нажил никакого состояния. Умер “ловкий придворный”, ничего не оставив своим наследникам.

В 1811 году, получив чин VII класса и звание профессора, де Будри с 27 июня 1811 года переводится в Царскосельский Лицей с освобождением от преподавания в гимназии. Что же до Екатерининского института, то де Будри продолжал преподавание и там; в отличие от своих коллег он с первых лицейских дней вел

преподавание в двух учебных заведениях. В том же 1811 году де Будри издает французскую грамматику. Полное название книги на русском языке выглядело так:

**Первые основания
французского языка,
или
Новая грамматика
в пользу российского юношества с
присовокуплением разных примечаний на
отношение обоих языков, одобренная Главным
училищ правлением и принятая в Педагогическом
институте, в СПГ Гимназии и некоторых
других воспитательных заведениях.**

Книга состояла из двух частей, причем в каждой части на левой странице разворота был напечатан русский текст, а на правой - соответствующий ей французский. Первая часть содержала 92 страницы русского текста и столько же французского, во второй части материал на каждом языке занимал по 69 страниц. К каждой части были приложены грамматические таблицы. Более трети второй части занимало содержание, которое было изложено в виде вопросов и ответов и могло служить для самопроверки.

Напечатаны обе части в Сенатской типографии, причем во второй части выход книги показан 1812 годом. Несмотря на то, что разрешение цензора Зона имеет дату 19 августа 1810 года, на титульном листе сочинитель именуется "профессором в Императорском Лицее и в Институте благородных девиц ордена св. Екатерины". Совершенно очевидно, что, получив звание профессора Лицея, де Будри уже при печатании книги поторопился запечатлеть это высокое назначение.

Один из подносных экземпляров книги хранится в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке (шифр 18.78.5.55). На чистом, дополнительно вплетенном в книгу листе форзаца, от руки четким почерком переписано Resume - мнения членов Главного правления училищ "sur ma grammaire" ("о моей грамматике"), рассматривавших книгу еще в рукописи:

"План сей Грамматики естествен и прост.

Правила оной написаны весьма вразумительно и выведены из истинных оснований французского языка.

Сии правила объяснены примерами поучительными, полезными и хорошо избранными.

Разность между сею и прочими грамматиками состоит в переменах, основанных по большей части на изрядных причинах.

Повсюду видно, что сочинитель рассуждал и о силе и отличительных свойствах французского языка как человек, знающий оный хорошо и относительно к прочим языкам, особливо к русскому, который он знает не поверхностно.

Следовательно, после поправок, происходящих от невнимательности и поспешности в сочинении, оно может быть напечатано".

Это заключение было составлено 26 сентября 1810 года за подписью известного естествоиспытателя Н. Я. Озерецковского и математика Н. И. Фусса, рассматривавших "Граматику" де Будри по предложению министра просвещения графа Разумовского. Разумовскому же "Граматику" представил автор. Рассмотрев рукопись, Озерецковский и Фусс одобрили ее, но сделали ряд замечаний и отметили много погрешностей "от невнимательности происшедших, хотя маловажных, но для сочинения сего рода весьма предосудительных"⁸, но все же рекомендовали ее в качестве пособия в столичной гимназии. По рассмотрении ответа де Будри на их замечания, где он принимал некоторые из них, а с другими решительно не соглашался, они признали сочинение де Будри "полезным к употреблению в учебных заведениях"⁹ и рекомендовали книгу к печатанию.

Таким образом пробивал де Будри дорогу книге, автором и издателем которой он был.

Грамматика не имела посвящения, но, видимо через вдовствующую императрицу Марию Федоровну, книга была поднесена Александру I, и автор был награжден обычным в таких случаях бриллиантовым перстнем.

Естественно, что, будучи профессором французской словесности в Лицей, де Будри использовал свой учебник для преподавания пушкинскому курсу. В 1815 году "Грамматика" официально упоминалась в качестве книги, по которой ведется преподавание французского языка. Однако применение "Грамматики" для старшего курса Лицея было весьма ограниченным. Подавляющее большинство лицейстов первого выпуска ко времени поступления в Лицей уже владели началами французского языка и не очень нуждались в его "первых основаниях", которым был посвящен учебник де Будри. Так, прекрасно владевший французским Пушкин в конце 1812 года был аттестован де Будри лишь вторым.

Но французский язык был только частью программы, преподававшейся профессором де Будри. Вот как рассказывал впоследствии о его преподавании М. А. Корф, обычно весьма критически

отзывавшийся о лицейском обучении: "...забавный коротенький старичок, с толстым брюхом, с насаленным слегка напудренным париком... - один из всех данных нам наставников вполне понимал свое призвание и, как человек в высшей степени практический, наиболее способствовал нашему развитию, отнюдь не в одном познании французского языка. Пока Куницын заставлял нас долбить теорию логики со всеми ее схоластическими формулами, де Будри учил нас ей на самом деле. Он действовал непосредственно и постоянно на высшую и важнейшую способность логического, складного и отчетливого выражения мыслей словом, ...он был очень строг и взыскателен, ...но теперь каждый из нас, конечно, отдает полную справедливость благотворному влиянию, которое он имел на наше образование"¹⁰. Для М. А. Корфа такой панегирик своему преподавателю не только необычен, но просто удивителен.

Второму лицейскому выпуску (поступление 1815 года) "Основания грамматики" были так же нужны, и 1 декабря 1815 года де Будри в качестве профессора Лицея затребовал у Лицейской Конференции 21 экземпляр своего учебника. По заведенному порядку конференция решила "представить его сиятельству"¹¹. Согласие министра было получено, и 21 января 1816 года конференция Лицея поручает хозяйственному правлению купить для Лицея у автора-издателя де Будри затребованную профессором де Будри книгу¹². А 20 февраля Конференция заслушивает уведомление о том, что де Будри получил 77 руб. 70 коп. за 21 экземпляр своей грамматики. Таким образом, один экземпляр книги в переплете стоил 3 рубля 70 копеек¹³. Для нас в этой истории наиболее интересен не столько порядок приобретения книги для Лицея и ее цена, сколько сама возможность выяснить, как была издана книга. Если в 1816 году автор получал деньги за проданные экземпляры своей книги, очевидно, что она была издана за свой счет и он был полноправным владельцем тиража, который расходился по учебным заведениям, где она, как значилось на титульном листе, была "принята", а также сдавался на комиссию книгопродавцам. Расходилась, как видим, книга не слишком бойко, хотя возможно, что де Будри специально оставил у себя какую-то часть тиража для нужд преподавания.

Уже после выпуска пушкинского курса, в 1818 году, де Будри подготовил "Сокращение французской грамматики" - небольшую книгу, содержащую по 73 страницы параллельного русского и французского текстов. 10 января 1819 года тот же цензор Зон, который в 1810 году подписал разрешение на первую книгу де Будри, одобрил и вторую. Кавалер орденов св. Анны 2-й степени и

св. Владимира 4-й степени, профессор Д. де Будри, как обозначен автор на титульном листе, подобно другим лицейским профессорам, печатал свою книгу в типографии Иоаннесова. На титульном листе книга имела эмблему Института св. Екатерины в качестве издательской марки. Службу в институте де Будри продолжал до последних дней жизни. Причем в последние годы он был гораздо ближе к институту, чем к Лицею. Достаточно сказать, что 7 октября 1821 года на заседании Конференции Лицея обсуждался вопрос об увольнении де Будри по болезни и назначении ему пенсии, а в конце заседания пришло известие о том, что де Будри умер еще 23 сентября.

Однако в некрологе де Будри, помещенном в журнале А. Е. Измайлова “Благонамеренный”, говорилось: “Погребение сего почтенного мужа представляло трогательное зрелище. Некоторые из молодых людей, получивших воспитание в Лицее, сохраняя к бывшему их наставнику... чувствования уважения и признательности... несли бранные останки его из церкви и сопровождали до кладбища. В несении гроба участвовал и директор Лицея г. действ. стат. сов. Энгельгардт”¹⁴. Здесь под “молодыми людьми, получившими воспитание в Лицее” имеются в виду лицеисты первого (пушкинского) выпуска 1817 года и второго выпуска 1820 года. Других выпускников Лицея в то время еще не было.

Значительную часть тиража “Сокращения” автор-издатель продал в Лицей. Так, в заседании хозяйственного правления Лицея 26 апреля 1819 года рассматривался вопрос об уплате де Будри шестисот рублей за 300 экземпляров книги в переплете, а 28 июня того же года - еще 250 руб. за 125 экземпляров¹⁵.

В 1820 году де Будри попытался поднести “Сокращение грамматики” Александру I. Архивное дело об этом было уничтожено во второй половине XIX века, но в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге сохранился его “экстракт”. События разворачивались следующим образом: письмо профессора Лицея де Будри министру народного просвещения по вновь введенному порядку было направлено в ученый комитет Главного правления училищ, который 13 марта 1820 года предоставил рассмотрение книги Руничу.

“В мнении г. Рунича изъяснено, что книга Будри “Сокращение французской грамматики”, заключая главнейшие правила и основательное руководство к познанию французского языка, ясно и внятно изложенное, с пользою употребляема быть может в нижних классах и заслуживает одобрения.

Присовокупление русского перевода, облегчая для начинающего изучение коренных правил, служит повторением оных и вместе

с тем наполняет новыми примерами, отличными от тех, которые помещены во французском тексте. Нельзя, впрочем, оставить без замечания множество типографских погрешностей, в издании сем находящихся, которые не могут иметь места в учебной книге”¹⁶.

Надо сказать, что в этом случае обвинять Рунича у нас нет оснований. “Сокращение грамматики”, как и ранее изданная “Грамматика” де Будри, действительно имело множество исправлений. Так, к “Грамматике” было приложено 3 страницы исправлений, а “Сокращение” имело 1,5 страницы “прибавлений и главных поправок”. Даже на титульном листе “Сокращения” в издательском знаке Института св. Екатерины было применено немыслимое в русском языке сокращение слова “святой” - “сой”. Хотя типография Иоаннесова не выделялась особо высоким качеством печати среди типографий своего времени, печатавшиеся в ней книги других лицейских профессоров не имели такого количества ошибок в тексте. Видимо, их следует отнести за счет небрежности де Будри в подготовке рукописи и ее корректуре, да и набор рукописи на французском языке представлял дополнительные трудности для типографии, специализировавшейся в основном на издании книг на русском и армянском языках. Что же вообще до качества печати, то несолько лет спустя, в 1827 году, П. А. Вяземский специально отмечал: “У нас многие из авторов и издателей не знают или не хотят знать, что есть в литературном или просто книжном мире законы вежливости, предписанные образованием и общежительностью: книга, худо напечатанная, есть поступок неучливый”¹⁷. В данном случае речь шла о “неучливости” к самому императору.

В соответствии с “мнением” Рунича ученый комитет Главного правления училищ 7 августа 1820 года решил “представить г. министру, что комитет не признает за приличное грамматику де Будри подносить Его Императорскому Величеству, какового отличия, по мнению одного, должны удостоиваемы быть сочинения, заслуживающие во всех отношениях особенное уважение”¹⁸.

11 августа министр мнение ученого комитета “утвердил и приказал объявить издателю”¹⁹.

Таким образом, де Будри не получил обычной в таких случаях царской награды. Тем не менее, два изданных им учебника ставят его в особое положение в ряду множества французов, эксплуатировавших в России знание “природного” языка. Безусловно, что в лице Давида Ивановича де Будри лицеисты имели не только культурного и широкообразованного наставника, но квалифицированного и опытного преподавателя своего предмета.



ПЕРЕВОДЫ ПРОФЕССОРА НЕМЕЦКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ГАУЕНШИЛЬДА



ридрих-Леопольд-Август Гауеншильд не принадлежал к числу любимцев лицеистов.

*Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами.
Друзья, сберемтеся гурьбой,
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплюснем со щекой,
Дадим австрийцу свалку¹.*

пелось о нем в “национальной песне” лицеистов. А на карикатуре Илличевского “Лицейские преподаватели, ищущие милости у графа Разумовского” Гауеншильд изображен в центре; энергично размахивая руками, он с самым решительным видом широким шагом устремился к министру. Недобрую память об “австрийце” лицеисты совершенно справедливо сохранили до конца своих дней. Правила, методы и поведение Гауеншильда неизменно приводили его к столкновению с лицеистами и впоследствии стали причиной его многочисленных бед и неудач в России. Достаточно вспомнить описанную И. И. Пушиным в его “Записках о Пушкине” историю с гоголь-моголем, когда исполнявший обязанности директора Лицея

Гауеншильд по случаю юношеской проделки сумел так раздуть дело, что в Лицей для вразумления виновных приехал сам министр Разумовский. В этой истории, правда, был очень активен и надзиратель Фролов, лично написавший рапорт министру, но в памяти весьма точного мемуариста Ивана Пущина первенство принадлежит Гауеншильду. А принятое под влиянием всей этой шумихи постановление конференции о “прописании” виновных в “черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске”, через два года ужаснуло нового директора Энгельгардта. По его настоянию профессора - члены Конференции, в том числе и сам Гауеншильд, при выпуске пушкинского курса решили придать это дело забвению.

Неудивительно, что злоязычный Корф в своих воспоминаниях аттестует Гауеншильда как хитрого и коварного человека с заносчивым нравом. Но и незлобивый Иван Пущин в 1854 году, характеризуя международную обстановку, писал Федору Матюшкину: “Теперь и Австрия могла бы быть на сцене разговора, но она слишком низка, чтоб о ней говорить. Она напоминает мне нашего австрийца Гауеншильда. Просто желудок не варит. Так и хочется лакрицу сплюснуть за щекой”².

Среди многочисленных дошедших до нас упоминаний Гауеншильда Пушкиным нет ни одного дружелюбного, благожелательного или хотя бы уважительного. В этом отношении лицеисты первого выпуска не были одиноки. В 1819 году воспитанники старшего возраста (будущий второй выпуск) имели столкновение с Гауеншильдом; при этом, как констатировал министр просвещения А. Н. Голицын, было допущено не только “явное ослушание, но и оскорбление профессору немецкой словесности Гауеншильду”³.

Воспитанники лицейского Благородного пансиона, первым директором которого был Гауеншильд, также не щадили его в своих стихах. А историк пансиона, выпускник 1825 года, князь Н. С. Голицын называет Гауеншильда “злым гением” и “бедой” пансиона. Даже закрытие пансиона в 1829 году, через семь лет после увольнения Гауеншильда, Голицын ставит ему в вину.

Высокомерие, заносчивость, несправедливость и мелочность отличали Гауеншильда от остальных преподавателей Лицея. На фоне Куницына, Кошанского, де Будри, Кайданова, Малиновского и Энгельгардта он зачастую выглядел белой вороной. Но ведь это был Лицей, учебное заведение, исключительное для Европы и не имевшее себе подобных в России. Пришедший в Лицей из Петербургской гимназии А. Д. Илличевский удивлялся оставшегося в гимназии П. Н. Фусса: “С начальниками обходимся без страха,

шутим с ними, смеемся"⁴. В таком окружении Гауеншильд не мог не выделяться. Однако в другом учебном заведении России или Европы его поведение было бы в пределах нормы, а рядом с иными преподавателями Федор Матвеевич, как называли его в России, был бы приятным сюрпризом.

Если молодые, не имевшие преподавательского опыта Куницын, Кайданов и Карцов на пороге Лицея сумели отрешиться от темных сторон воспитания, через которое они прошли в годы своей юности, то Гауеншильд упорно, с высокомерием цивилизованного человека, оказавшегося в полудикой стране, сохранил в своем арсенале педагога приемы и методы, через которые ему пришлось пройти самому. Однако и в Лицее Гауеншильд не был совсем уж одинок. Недалекий солдафон, надзиратель по учебной и нравственной части полковник С. С. Фролов, далеко не глупый и весьма пронзительный первый надзиратель М. С. Пилецкий-Урбанович, вполне владевший методикой отцов-иезуитов и сменивший его В. В. Чачков, представляли собой педагогов, не соответствовавших духу Лицея.

Да и у тех, кого мы относим к золотому фонду Лицея, с сегодняшней точки зрения не все было идеально. Самоуверенность и самовлюбленность Кошанского вначале немало препятствовали установлению контакта со многими лицеистами. Кайданов имел привычку называть воспитанников в классе "скотиной". Получалось это шуточно и необидно: наподобие "мошенников", как именовал кадетов Первого кадетского корпуса любимый ими легендарный эконом Бобров. Уже будучи взрослыми лицеисты пушкинского выпуска в протоколах лицейских годовщин весело называли себя "скотобратцами", что из нашего "сегодня" обращение "скотина" все же кажется диковатым. Наконец, даже директор Энгельгардт так и не нашел пути к сердцу своего воспитанника, чьим именем осенен и Лицей и вся эпоха, в которую жили его преподаватели и воспитанники. Но если над Кайдановым и Кошанским посмеивались, а к Энгельгардту Пушкин (почти единственный) относился настороженно и даже иногда неприязненно, то Гауеншильд вызывал единодушную антипатию и ненависть. Это отношение лицеистов передалось и последующим исследователям. В литературе, посвященной пушкинскому Лицею, можно встретить нелестные отзывы о личности Гауеншильда и его педагогической деятельности вплоть до подозрений в самозванстве, присвоении ученых званий и упреков в невежестве. Все это сверх высказанного лицеистами подозрения в том, что Гауеншильд был австрийским шпионом, которое у позднейших исследователей превратилось в непреложный факт.

Однако представляется, что почвы для сомнений в компетентности Гауеншильда, несмотря на всю непривлекательность его личности, нет. Так, например, порой с удивлением и недоумением говорится о том, что лекции свои Гауеншильд читал по-французски. При этом упускается из виду, что среди лицеистов, как и в обществе того времени, немецкий язык был распространен мало. Аттестатом благородного происхождения и хорошего воспитания был язык французский. В этом отношении положение француза де Будри было гораздо предпочтительнее, чем немца Гауеншильда. Ровесник старших лицеистов М. А. Дмитриев писал в своих воспоминаниях: “Знание немецкого языка было большая редкость почти до двадцатых годов нынешнего столетия. Когда я был в университете (1813-1817), почти никто не знал по-немецки”⁵. Сходная ситуация была и в Лицее. Из тридцати мальчиков первого приема ни один на вступительных экзаменах в 1811 году не обнаружил полного незнания французского языка и лишь четверо знали его неудовлетворительно (двое - “слабо”, один - “плохо” и один - Дельви́г - “преслабо”). Совсем иначе обстояло дело с немецким. Шестеро, в том числе Пушкин, “не учились”, а восемь - “не знали”, т. е. почти половина курса с немецким языком знакома не была. М. А. Корф прямо указывает: “Лекции свои Гауеншильд читал на французском языке. Это объяснялось тем, что некоторые из нас и даже многие, не знали ни слова по-немецки”⁶.

Илличевский, которого Гауеншильд характеризовал как способного, прилежного и даже блистательного ученика, имеющего успехи, подводя итог трехлетнему обучению, писал все тому же Фуссу о трудности овладения языками и признавался, быть может не без кокетства, что немецкий язык остается для него тарабарской грамотой.

Не многим лучше обстояло дело с немецкой словесностью. В черновиках “Евгения Онегина” Пушкин писал о своем герое:

*Он знал немецкую словесность
По книге госпожи де Сталь⁷.*

Такое знание по французской книге было типично не только для Онегина. На протяжении длительного времени французский язык служил воротами в Россию практически для всей европейской литературы.

И вместе с тем изучение немецкого языка и литературы не было прихотью создателей Лицея. Русско-немецкое культурное и научное общение к этому времени имело уже давние традиции.

Еще с елизаветинского царствования русская Академия наук изобиловала немцами, среди которых были, например, такие видные историки-слависты, как Г. Ф. Миллер, А. А. Шлецер, И. Г. Штриттер, А. К. Шторх, Ф. П. Аделунг и ряд других значительных имен людей немецкой культуры, большинство из которых родилось в Германии. Наконец, сочинения многих ученых-немцев легли и в основу курсов лицейских профессоров. Не будем забывать, что столь много сделавший для русской науки М. В. Ломоносов вместе с Д. В. Виноградовым учился в Германии, а А. Н. Радищев вместе со своими товарищами по Пажескому корпусу также заканчивал свое образование в Германии. В начале XIX века меккой русских студентов были не Сорбонна, Оксфорд или Кембридж, а немецкий, хотя и подчинявшийся английским законам, университет в Геттингене. По подсчетам Е. И. Тарасова, в первой четверти XIX века в Геттингене слушали лекции 289 русских студентов⁸, приехавших как на казенный, так и на собственный счет. Это число примерно вдвое превышало годовой выпуск Московского университета и равнялось половине среднегодового числа его студентов в то время. Чрезвычайно характерным представляется само название статьи Тарасова: «Русские геттингенцы первой четверти XIX века и влияние их на развитие либерализма в России». Вспомним и Пушкина, на страницах произведений которого столь часто упоминаются Гете, Шиллер, Лессинг, Э. Т. А. Гофман, И. Г. Гердер, Виланд, Клопшток, Гейне и их произведения; полный же перечень упоминаемых Пушкиным немецких авторов и их персонажей займет не одну страницу. И это несмотря на то, что немецкий язык был вторым (после математики) его кошмарным воспоминанием о лицейских годах.

Вообще же надо отметить, что изучение немецкого языка и словесности в Лицее было поставлено достаточно серьезно. В библиотеке имелось значительное количество книг на немецком языке, ежегодно выписывались немецкие журналы. В 1811 году, например, их было пять.

В 1814 году А. Илличевский в письме П. Н. Фуссу характеризовал Гауеншильда как «человека с большими познаниями»⁹. Конечно, мнение юного лицеиста не может быть решающим в этом вопросе. Но есть здесь и другие соображения. Историк Лицея Д. Ф. Кобеко¹⁰ отмечает основные из них: в 1797 году Гауеншильд участвует в военном походе в корпусе Венского университета, а в 1805 году - в академической гвардии в качестве поручика, что подтверждает его пребывание в университете. Далее, за работы «Alba Julia nebst Bemerkungen uber das von Matheus von Hauenschild

entecte römische Baad” и “Uber den Gesund brunnen von Borssek und das Thal von Menadie”, которые, видимо, напечатаны не были, Гауеншильд был удостоен звания “officier honoraire” Венской Академии художеств. Правда, стремясь в России к “ученой” карьере, Гауеншильд предпочитал говорить о “Венской Академии”, что наводило на мысль об Академии наук. Живя в России, он, видимо, быстро уловил, что в русской иерархии Академия художеств котируется значительно ниже Академии наук.

С 1809 года Гауеншильд - воспитатель в доме австрийского генерала барона Лаудона, что также предполагает определенное, достаточно основательное образование, подтвержденное документами. В 1811 году, когда после сватовства Гауеншильда к племяннице Лаудона ему в качестве условия женитьбы было поставлено получение профессорского звания, Гауеншильд через австрийское посольство в Петербурге и С. С. Уварова, бывшего в это время попечителем Петербургского учебного округа, получает приглашение в Лицей. С Уваровым Гауеншильд познакомился еще в Вене в период 1806-1809 годов, когда тот состоял при русском посольстве. При его протекции Гауеншильд, приехав в Россию в 1811 году, и получил место профессора немецкой словесности в Царскосельском Лицее. Трудно предположить, чтобы разно-сторонне образованный Уваров мог рекомендовать своему тестю министру Разумовскому, за которым было последнее слово, невежду на место профессора в Лицее. Что же до австрийского посольства, то сохранившийся австрийское подданство Гауеншильд, безусловно, был там своим, в достаточной степени близким человеком и служил для него одним из многочисленных источников информации о России, что, однако, еще не является основанием считать его шпионом. Ведь не числим же мы в шпионах австрийского посланника, а затем и министра иностранных дел графа Фикельмона, добросовестно выполнявшего служебные обязанности и бывшего своим человеком в петербургском свете. Подозрение это возникло в среде юных лицейцев, не принимавших педагогику “австрийца”, в то время, когда общество было взбудоражено ссылкой “шпиона” Сперанского. Кроме того, в это время сформировалось пренебрежительное и неприязненное отношение к “австриякам”. Оно было порождено их неудачными войнами с Наполеоном, в которые, начиная с Итальянского похода Суворова с тяжкими и порой унижительными последствиями, оказалась втянутой и Россия. Зарождение этих настроений нашло отражение позже в “Войне и мире”, где Толстой дал сцену шутовской выходки Жеркова перед приехавшими к Кутузову в Браунау австрийскими

генералами, осужденную, кстати, Андреем Болконским. Версия же о “шпионстве” Гауеншильда впоследствии получила “подкрепление” на том основании, что по возвращении из России в Австрию он служил по дипломатическому ведомству. Кроме того, малоизученность биографии Гауеншильда придает этой фигуре таинственный и зловещий характер. Не могло не повлиять на отношение к нему сначала современников, а за ними потомков, устойчивое недовольство русского общества политикой Австрии и личностью Меттерниха, сложившееся после победы над Наполеоном. “Имя Меттерниха произносилось с презрением и ненавистью”, - писал об этом времени декабрист А. П. Беляев¹¹. Подчинение русской политики интересам Австрии, все усиливавшееся личное влияние Меттерниха на Александра I вызывали в России подозрение и раздражение к “людям Меттерниха”, заставляя видеть в лицейском профессоре шпиона австрийского канцлера.

Как раз в годы пребывания Гауеншильда в России закладывались основы чрезвычайно тесного сотрудничества петербургского и венского кабинетов не только в области защиты всевропейского легитимизма, но и в части внутреннего сыска, в том числе и по линии министерства просвещения. При Николае I, когда судьба Гауеншильда стала уделом русских мемуаристов, эти корни уже “расцвели” буйным, хотя и секретным цветом. Так, в 1828 году министр просвещения А. С. Шишков, отмечая значительную пользу, приносимую Вуком Караджичем в славянской словесности, по его просьбе ходатайствовал у гр. Бенкендорфа о выдаче ему паспорта российского подданного для путешествия по славянским землям, находящимся в турецком владении (живя в это время в Австрии, Караджич тесно сотрудничал с Российской академией и получал “всемилодивейший пансион” от русского императора). Заранее извещенный из Вены о возможности такой просьбы, Бенкендорф отвечал Шишкову: “Отдавая полную справедливость г. Караджича заслугам на поприще славянской словесности, но получа из Вены весьма невыгодные о нем сведения в отношении политическом, я полагаю бы ему в просьбе отказать”¹². Что министр просвещения и вынужден был “принять к сведению” и исполнить. А в 1836 году варшавский военный губернатор Е. А. Головин обратился к другому министру просвещения С. С. Уварову: “В девятом номере “Журнала министерства народного просвещения” на нынешний год помещена выписка из письма к Вашему превосходительству от путешествовавшего по Германии ординарного профессора Московского университета Погодина, в котором, между прочим, г. Погодин отзывается с большою похвалою о Лембергском (Львовском. - М. А.) книго-

продавце Меликовском... Между тем из полученных здесь от австрийского правительства в начале истекшего года официальных сведений видно, что по произведенному в Лемберге следствию тамошние книгопродавцы Меликовский и Кун уличены в торговле запрещенными книгами и в тайных сношениях по сему предмету как с книгопродавцами Царства Польского, так и с заграничными. По этому поводу захвачены были их купеческие книги и переписка, а сами они стоят на виду местной власти, как люди сомнительной благонадежности. Полагая, что могут встретиться также обстоятельства, при которых Вашему превосходительству не без пользы будет иметь сведение о подобных действиях книгопродавца Меликовского, я счел обязанностью сообщить о сем..."¹³ Таким образом, торговля книгами, запрещенными в Австрии, автоматически делала человека неблагонадежным и в глазах российских властей. Хотя подобная переписка велась сугубо секретно, столь тесное сотрудничество в области "культуры и просвещения" не было тайной для русского общества и вызывало соответствующую реакцию и к австрийскому правительству, и к его подданным.

Биография Гауеншильда по австрийским архивам изучена у нас весьма неполно и задает больше вопросов, чем можно получить ответов. Тем более что сегодняшние наши знания о Гауеншильде заставляют с осторожностью относиться к его собственным свидетельствам. Весьма неясным остаются его отношения с М. М. Сперанским, работа в Комиссии составления законов и его масонская деятельность. Такая неизвестность, конечно, проще всего объясняется "шпионством" Гауеншильда, однако эта версия, помимо предположений, требует и документальных доказательств. Беспардонный же его карьеризм скорее говорит в пользу того, что преподавательская деятельность была для Гауеншильда основной и жизненно важной.

Историческое исследование, конечно, не уголовный процесс, методы поиска и доказательства здесь несколько иные, но, думается, отрицательный герой истории имеет такое же право на презумпцию невиновности, как и обвиняемый по уголовному кодексу.

Начав в 1811 году службу в Лицее, энергичный и оборотистый Гауеншильд добивается служебных успехов. В сентябре 1814 года после смерти первого директора Лицея В. Ф. Малиновского и болезни заменявшего его Кошанского, министр Разумовский отказывается от продолжавшегося всего несколько месяцев коллегиального управления Лицеем и поручает Гауеншильду исправлять должность директора. Таким образом, на служебной лестнице Гауеншильд опередил награжденного орденом Куницына, который

был всего на три года его моложе. Директорство Гауеншильда продолжалось почти полтора года и прекратилось накануне прихода в Лицей Энгельгардта в январе 1816 года. Официально причиной увольнения Гауеншильда от директорской должности была необходимость “беспрерывного надзора” над Благородным пансионом. Директорство в Благородном пансионе было поручено Гауеншильду в январе 1814 года, когда еще был жив Малиновский. На пост директора пансиона претендовал Н. Ф. Кошанский, имевший старшинство и преимущество опыта, да и положение о Благородном пансионе предусматривало, что директор его должен назначаться из “природных россиян”. Однако, пользуясь покровительством Уварова и Разумовского, Гауеншильд, уже содержавший подготовленный пансион для поступающих в Лицей, добился директорства в лицейском пансионе, даже не приняв русского подданства.

Сразу по приезде в Россию Гауеншильд переводит на немецкий язык небольшой труд Уварова, посвященный вопросам изучения культуры Азии. Брошюра под названием “Essai d'une Academie Asiatique” (“Опыт об азиатской академии”) вышла на французском языке в 1810 году, вызвала немалый интерес современников и привлекла их внимание к имени С. С. Уварова. Королевское Геттингенское общество наук избрало его своим членом. Перевод Гауеншильда вышел в 1811 году под заголовком “Ideen zu einer asiatischen Academie” (цензурное разрешение от 20 июля 1811 года). В мемориях Лицейской Конференции за 1813 год есть упоминание о том, что “профессор Гауеншильд, трудясь над составлением курса немецкой словесности в пользу воспитанников Лицея, желает приобрести некоторые, полезные, впрочем, и для библиотеки Лицея, книги, коим список прилагается”¹⁴. Этот список всего из пяти наименований Конференция по обычному порядку отправила на благоусмотрение министра Разумовского. Однако немецкая словесность Гауеншильда так и не была напечатана, нет у нас и каких-либо сведений о том, что книга была хотя бы закончена. По всей вероятности, судьба задуманной “Немецкой словесности” Гауеншильда была одинакова с судьбой “Ифики” Куницына.

В 1818 году Гауеншильд перевел на немецкий произнесенную С. С. Уваровым и изданную отдельной брошюрой “Речь президента Императорской Академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года”, которая вышла под названием: “Rede des H. Curators des St. Peterburgischen Lehrbesirkes S. V. Ouvaroff, gehalten in der feirlichen Versammlung des Paedagogischen Central Instituts den 22 Maerz 1818”.

В том же 1818 году при одобрении президента Академии наук Уварова Гауеншильд избирается ее членом-корреспондентом. Сегодня это избрание в Академию человека, выполнившего переводы двух речей президента, представляется по крайней мере странным проявлением угодничества. Однако ситуация, сложившаяся в Академии к моменту избрания ее президентом С. С. Уварова, заставляет по-иному взглянуть на эту историю. По воспоминаниям П. А. Плетнева¹⁵ Уваров, вступив в должность президента, был шокирован ее запустением и малочисленностью членов. В первом заседании присутствовало всего 15 членов Академии (при двух отсутствующих). На этом заседании Уваров предложил избрать почетным членом Академии Н. М. Карамзина. Стремясь расширить круг членов Академии, новый президент вскоре предложил к избранию А. Гумбольдта и ряд других видных ученых Западной Европы и России. Однако круг потенциальных академиком, особенно из числа живущих в России, был весьма ограничен, и Уваров не мог быть слишком разборчивым при пополнении Академии. Хотя в это время он и воздержался от избрания в Академию И. К. Кайданова, бывшего уже автором солидного учебника древней истории, но происходившего из малороссийского духовенства. Вообще же, по понятиям того времени, у Гауеншильда было не меньше оснований стать членом-корреспондентом Академии наук, чем у графов Аракчеева, Кочубея и Гурьева войти в Академию художеств. Как известно, президент Академии художеств А. Н. Оленин в 1822 году предложил избрать их “почетными любителями”, как “особ, приближенных к императору”, что вызвало ироническую рекомендацию вице-президента А. Ф. Лабзина заодно избрать и царского лейб-кучера Илью Байкова, еще более приближенного к императору и имевшего даже право сидеть к нему спиной. Избрание Гауеншильда не вызвало недоумения академиком, и он благополучно стал членом-корреспондентом, получив 12 голосов из 15. По всей вероятности, избранию Гауеншильда способствовало не только покровительство Уварова, но и традиционный пиетет перед иностранцами, который, по замечанию современника, заставлял в России каждого умного считать иностранцем, а каждого иностранца - умным.

Сколь бы ни было важно покровительство вельмож, сколь ни был угодлив и ловок сам Гауеншильд, как совершенно справедливо отмечает Д. Ф. Кобеко, чтобы войти в общество ученых, необходимо было ему в какой-то мере соответствовать. И Гауеншильд соответствовал этому кругу людей, в пользу чего говорит не только его успешная баллотировка в Академию наук, но и его

достаточно длительное общение с Н. М. Карамзиным, Н. П. Румянцевым, А. И. Тургеневым и другими просвещенными людьми своего времени. Однако, по-видимому, пользуясь у них определенным уважением, симпатий у большинства из них (за исключением, быть может, Уварова) Гауеншильд не вызывал. В этом отношении пожилые сановники оказались единодушны с молодыми лицеистами.

Самым значительным трудом Гауеншильда был предпринятый им в 1818 году, уже после выпуска из Лицея пушкинского курса, перевод “Истории государства Российского” Н. М. Карамзина. По сравнению с выполненными ранее переводами этот труд Гауеншильда столь важен и значителен, что на нем следует остановиться особо, хотя он и выходит за хронологические рамки Пушкинского Лицея.

Перевод был начат сразу после того, как вышли и молниеносно разошлись восемь томов первого издания “Истории”.

27 февраля 1818 года Карамзин не без удивления и гордости констатирует продажу последнего из трех тысяч экземпляров “Истории”. 7 апреля заключен договор с книгопродавцем Слениным на второе издание. 8 июня - объявление о начале печатания второго “исправленного издания”. Одновременно газеты сообщают о готовящемся переводе истории на иностранные языки¹⁶. Столь стремительная продажа серьезного многотомного издания была удивительна не только для России, но и для Европы. В предисловии к первому тому немецкого перевода Гауеншильд не преминул отметить, что три тысячи экземпляров “Истории” разошлись в России в 26 дней, причем покупателями были из самых “различных слоев общества, не исключая солдат и крестьян”.

26 июня 1818 года Главное правление училищ слушает “письмо профессора немецкой литературы в Царскосельском Лицее Гауеншильда к господину министру духовных дел и народного просвещения, в коем изъясняет, что он переводит “Историю государства Российского” г. Карамзина под руководством самого сочинителя. Первая часть оною перевода вскоре окончена будет, а вторая в непродолжительном времени за оною последует”¹⁷. Вслед за “изъяснением” Гауеншильда следовала его просьба о вспомоществовании к напечатанию “Истории” заимообразно 6000 рублей.

Главное правление училищ определило Хозяйственному комитету “на соображение, из каких именно сумм можно было бы произвести сию заимообразную выдачу”. При этом было высказано сомнение, достаточно ли будет запрошенной суммы на затеваемое предприятие. Сомнение это не было безосновательным, если вспомнить, что сам Карамзин на печатание первых восьми томов в

казенной типографии получил от Александра I в 1816 году 60 000 рублей. В качестве издателя своего будущего перевода Гауеншильд оказался таким же нерасчетливым предпринимателем, как и директором Благородного пансиона, где его хозяйственная деятельность кончилась многотысячным ущербом.

На определение Главного правления училищ Хозяйственный комитет ответил, что денег в этом году изыскать неоткуда, и предложил удовлетворение просьбы Гауеншильда оставить до будущего года. Однако ходатаи у Гауеншильда были достаточно влиятельные, да и значение начатого дела выходило за рамки научно-коммерческой инициативы лицейского профессора. Поэтому министр А. Н. Голицын обратился в Комитет министров, который по его представлению постановил выдать 6000 рублей. 11 сентября 1818 года Голицын известил Хозяйственный комитет о решении Комитета министров. Причем деньги выдавались на чрезвычайно льготных условиях: без процентов и с уплатой через полтора года по напечатании книг¹⁸. Как было уточнено по выходе 1-го тома перевода в апреле 1820 года, срок начала платежа следовало считать от выхода “последней части”, то есть последнего, восьмого тома (девятый том был окончен Карамзиным лишь в декабре 1820 года и появился в продаже в мае 1821 года)¹⁹. Позднее, в апреле 1821 года, Гауеншильд попросил на тех же условиях еще 4000 рублей.

Перевод “Истории” Карамзина на иностранные, в первую очередь европейские, языки был делом государственным. И Голицын сравнительно быстро вновь провел этот заем через Комитет министров. Таким образом, долг Гауеншильда возрос до 10 000 рублей.

Затеянное Гауеншильдом предприятие не идет ни в какое сравнение с выполненными им ранее скромными переводами небольших сочинений Уварова. Начатая работа была слишком грандиозна для скромных масштабов профессора Лицея. Прецедентов же подобной работы не существовало вообще. Если переводы с немецкого на русский в предшествовавшие сто лет были многочисленны, то опыта переводов с русского на немецкий текстов такого объема и такой степени сложности еще не было. Помимо большого объема перевода трудность состояла в передаче на немецкий огромного количества имен собственных - русских фамилий, имен, прозвищ, топонимических названий, а также обозначения на немецком языке специфических терминов, характеризующих жизнь России на протяжении нескольких веков. Все это требовало не только прекрасного владения двумя языками, но и определенных исторических и лингвистических познаний. Почти

десять лет жизни в России и знакомство в молодости с одним из славянских языков, по признанию самого Гауеншильда, оказали ему неоценимую услугу в его работе.

Попытки переводов Карамзина как на немецкий, так и на французский языки предпринимались в это время неоднократно. В предисловии к первому тому перевода “Истории” Гауеншильд упоминает о предпринятой незадолго до того попытке перевести труд Карамзина. Перевод был начат в Москве профессором Х. А. Шлецером, сыном известного историка Августа-Людвига Шлецера, много занимавшегося русской историей. Шлецер-сын был связан с кружком Н. П. Румянцева, откуда к Карамзину обильным потоком шли архивные материалы для создававшейся им “Истории”. Перевод Х. А. Шлецера до печати не дошел. Возможно, тут какую-то роль сыграли взгляды Н. П. Румянцева, который в 1819 году отказался финансировать перевод “Истории” на французский язык, “ибо передать на чужестранный язык те важные выписки древних наших рукописей, коими Николай Михайлович обогатил свое сочинение, есть дело невозможное...”²⁰.

Известна и другая попытка перевода “Истории” Карамзина на немецкий язык. 4 апреля 1819 года, узнав о смерти Августа Фридриха Коцебу, убитого студентом-богословом Карлом Зандом, Карамзин пишет А. Ф. Малиновскому: “Что скажете об убиении Коцебу? Каково просвещение! Коцебу переводил мою историю и писал ко мне письмо любезное”²¹. Занимался переводом “Истории” на немецкий и В. К. Кюхельбекер²².

Из предисловия Гауеншильда к первому тому перевода можно понять, что его первоначальное обращение к Карамзину, кстати, хорошо владевшему немецким, было безуспешным. Однако через Н. П. Румянцева мосты к автору “Истории” были наведены. Карамзин не мог остаться в стороне от перевода своего труда. Не без ходатайства общих друзей и знакомых, скрепя сердце он взялся просматривать отпечатанные листы переводов и консультировать переводчиков. Неопытность и неумелость переводчиков, а также плохое знание самого предмета истории раздражали Карамзина. Его дружеская переписка с И. И. Дмитриевым за 1819 год переполнена досадами на переводчиков. 22 августа 1819 года он пишет своему старинному другу: “Не знаю, куда деваться от переводчиков моей Истории, немецких и французских: я не искал их”²³. 20 октября, насчитав около 30 ошибок во французском переводе первого тома, он сообщает И. И. Дмитриеву: “...немецкий перевод еще не вышел, думаю. В печатных листах 1-го тома, мною полученных, также есть грубые ошибки”²⁴. 15 декабря 1819 года Карамзин вновь

жаалуется: “С двух сторон терзают меня переводчики моей Истории; труда много и вздору много. В том и в другом переводе ошибки сплошные”²⁵. И в это же время он пишет, что в первом томе немецкого перевода он насчитал более 100 ошибок “отчасти грубых и непонятных: напр., 17-й век вместо шестого, “до рождения Христова” вместо “до введения Христ[ианской] веры” etc.”²⁶. “Незаинтересованный” историк уже в 1820 году все-таки отмечает, что немецкий перевод движется много медленнее французского (объективности ради надо заметить, что французский перевод выполняли два человека). В ноябре вышли 7-й и 8-й тома на французском языке, в то время как на немецком в начале 1821 года вышел еще только второй том. А в 1822 году Карамзин пишет Вяземскому: “В Геттингенских ученых ведомостях... напечатана рецензия на мою Историю, писанная, как вероятно, знаменитым историком Гереном, ...мне читала ее императрица Мария Федоровна, а я слушал с удовольствием, развесив уши”²⁷. Кроме Карамзина в предисловии к 1-му тому Гауеншильд благодарит за помощь А. И. Тургенева и С. С. Уварова, особо отмечая ученые заслуги последнего и тот факт, что ему Гете “присудил гражданство в ученой республике”. Не был забыт в предисловии и князь А. Н. Голицын, “министр и общественный деятель”, как называет его Гауеншильд, которому он был обязан и получением значительной ссуды, и покровительством.

Отправляя министру А. Н. Голицыну экземпляр первого тома, Гауеншильд писал: “Благоволите, сиятельнейший князь, принять также и для себя экземпляр сего труда моего, в предисловии коего я не мог не упомянуть об имени того, которого почитаю и всегда буду почитать одним из величайших моих благодетелей”²⁸.

Первый том перевода вышел под названием “Karamsin's Geschichte des Russischen Reiches” (“Карамзинская история государства Российского”), а второй - “Geschichte des Russischen Reiches von Karamsin” (“История государства Российского Карамзина”).

На титульных листах обоих томов специально оговаривалось, что перевод выполнен со второго русского издания. Типографом показан Гартман (С. I. G. Hartmann), а место издания Рига - традиционный центр книгопечатания на европейских языках в Российской Империи. Когда в 1762 году Екатерина II предложила Вольтеру перенести печатание Энциклопедии в Россию, в качестве предполагаемого места ее печатания была названа Рига. Фронтиспис первого тома был украшен портретом Карамзина - “историка государства Российского”. Это была перегравировка портрета

Карамзина работы Варнека, гравированного Уткиным для второго русского издания “Истории”. Для немецкого издания гравюра была выполнена не с рисунка художника, а с гравюры в первом томе. Поэтому портрет Карамзина в немецком переводе “Истории” оказался зеркален к портрету во втором издании Сленина. Гравёр Афанасьев, скорее всего это был еще молодой К. Я. Афанасьев, ученик Уткина, убрал аннинскую звезду с правой стороны груди Карамзина, чтобы при перегравировке она не перешла налево, но сюртук оказался застегнутым на левую сторону - “по-дамски”.

Как известно, Карамзин посвятил свою “Историю” Александру I. Это посвящение, естественно, вошло в перевод Гауеншильда. Сам же перевод он посвятил не австрийскому императору, а “великодушному товарищу по оружию” русского императора прусскому королю Фридриху Вильгельму III, хотя между русским и австрийским дворами отношения были самыми дружественными. Трудно сказать, мешали этому какие-либо формальные причины или переводчик имел далеко идущие виды (перевод печатался в Лейпциге) на Прусское королевство, но австрийский подданный Гауеншильд не посвятил свой труд австрийскому императору.

Экземпляры вышедшего в последние дни 1819 года первого тома немецкого перевода Гауеншильд через Голицына и А. И. Тургенева препровождает Александру I, царствующей и вдовствующей императрицам, за что удостоился обычных в таких случаях бриллиантовых перстней от Александра I и его жены. Книгу же император приказал поместить в Эрмитажную библиотеку (хранящийся сейчас в Российской национальной библиотеке экземпляр перевода “Истории” имеет экслибрис Императорской Эрмитажной иностранной библиотеки). 8 января 1820 года по приказанию Голицына еще один экземпляр направляется великой княгине Александре Федоровне, дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III и жене великого князя Николая Павловича.

В феврале 1821 года выходит второй том перевода, также благосклонно принятый высочайшими особами, причем за отсутствием Александры Федоровны второй том “имел честь получить” генерал-инспектор по инженерной части Николай.

27 февраля 1822 года за “непорядки” в Благородном пансионе Гауеншильд был отставлен от должности директора пансиона и от преподавания. Поводом для обнаружения “непорядков” послужила заурядная шалость группы воспитанников пансиона, что привлекло особое внимание начальства к делам пансиона. Строгость же наказания директора скорее всего объясняется происходившей в это время передачей Лицея из Министерства просвещения в Военное

министерство, когда чины того и другого ведомства старались не ударить лицом в грязь друг перед другом. Через три месяца Гауеншильд навсегда покинул Россию. Он поселился в Дрездене, где занимался печатанием третьего тома перевода, который вышел в 1823 году и имел тот же заголовок, что и второй том. В предисловии к третьему тому, датированном 28 августа 1822 года, Гауеншильд писал, что перевод его был закончен еще в Царском Селе. Отмечая положительные и ободряющие отзывы на свой труд в Европе, он трактует свое увольнение из Лицея как освобождение от забот, предоставленное “великодушным царем Александром”, что позволило ему сосредоточиться на работе по переводу Карамзина. Конечно, немецких читателей не касались неприятности переводчика на его службе в Лицее, говорить же о великодушии русского царя у Гауеншильда, получавшего от него 2000 рублей годовой пенсий, были все основания.

Однако дальше третьего тома перевод “Истории” у Гауеншильда не пошел. 2000 рублей были довольно скромной суммой, рассчитывать на большие доходы от продажи “Истории” особенно не приходилось, и Гауеншильд начинает “искать место”. В мае 1824 года, через два года по выезде из России, он становится австрийским консулом на острове Корфу; через три года Гауеншильд получает дворянское достоинство, а в 1830 году, вернувшись на родину, он умирает, будучи всего пятидесяти лет.

С отъездом Гауеншильда из России князь А. Н. Голицын не потерял надежды на завершение перевода “Истории”. 3 октября 1823 года он пишет Гауеншильду: “Узнав от г. Карамзина, что он имеет с Вами переписку по принятому Вами изданию немецкого перевода... покорно прошу... уведомить меня о содержании сей переписки. Ежели встречаются какие-либо затруднения, могущие остановить издание Вашего перевода, то не согласитесь ли Вы рассчитаться с Департаментом народного просвещения в выданных вам на сие издание 10 000 рублей уступкою оному известной мне вашей библиотеки, ибо Департамент народного просвещения обязан не запускать на долгое время недоимок по своей кассе”²⁹. Беспокойство Голицына понять можно. Он просил ссуду для предприятия его служащим изданием. Взыскивать же ссуду приходилось с находящегося за границей иностранного подданного. Письмо Голицына было направлено бывшему лицейскому профессору через русскую миссию в Вене.

Написанный по-французски ответ был пространен, но неутешителен для заимодавца; хотя Гауеншильд явно хотел не испортить окончательно свои отношения с министром, олицетворявшим для него и Россию и русский двор.

5(17) января 1824 года, вернувшись из Карлсбада в Вену, он отвечал, что переписки с Карамзиным не имеет, а рецензии на изданные тома весьма благоприятны и скоро должна появиться еще одна, “столь же для него благоприятная”.

Ход же работы над изданием в русском переводе этого письма изложен так: “В надежде, что г. Карамзин сохранит к нему то же благорасположение, он продолжал свой труд и послал свою рукопись для напечатания в Лейпциг, но через некоторое время, к величайшему его удивлению, возвратили ему следующий, 4-й том в рукописи с уведомлением, что г-н Карамзин доставил другой перевод”³⁰. Это решение Карамзина Гауеншильда “постигнуть” не мог. Сегодня же нам оно представляется вполне логичным, так как и Карамзин, и люди из его окружения, выступавшие перед ним ходатаями за Гауеншильда, видели медленность работы над переводом и имели все основания сомневаться в добросовестности Гауеншильда, покинувшего Россию, невзирая на то, что он, и будучи уволенным из Лицея, имел возможность получить другую службу. К тому же между выходом второго и третьего томов прошло более двух лет, что также не свидетельствовало о старании переводчика. По-видимому, хотя на титуле третьего тома издателем по-прежнему показан Гартман и местом издания Рига, значительную часть хлопот по печатанию принял на себя переводчик. Кстати, в отличие от двух первых томов, на третьем имеется указание, что печатал том “И. Б. Гиришфельд в Лейпциге”. В своем ответе Голицыну Гауеншильда пишет, что рижский книгопродавец Гартман и предыдущие тома печатал в Лейпциге. Этому не противоречит единообразное оформление и характер шрифтов всех трех томов. Непонятно только утверждение Гауеншильда, что все три тома “не принесли ему ни полушки” вследствие того, что печатались в Лейпциге; издание могло начать приносить реальный доход только по выходе всех восьми томов, первоначально изданных Карамзиным, независимо от места печати.

Что же до 10 000 рублей, полученных от Департамента просвещения, то, по утверждению Гауеншильда, они были потрачены “на пополнение его библиотеки книгами, необходимо нужными для предпринятого им перевода. Господин Карамзин и сам пользовался сею библиотекою, которая для него, Гауеншильда, остается единственной собственностью, или, лучше сказать, собственностью его заимодавцев”³¹.

Далее Гауеншильд жалуется на свои многочисленные убытки на русской службе, начиная с поездки в Дерпт в 1812 году; тут и разорительность содержания Благородного пансиона при Лицее,

жалобы на злокозненность секретарей Лицея и интриги директора Энгельгардта, что “разорило его совершенно”.

В заключение своего письма Гауеншильд пишет, что доставляет Голицыну “сочинение свое на латинском языке о святых угодниках Грекороссийской церкви, которое благосклонно принято Мюнхенской академией”³². Видимо, это сочинение должно было послужить неистовавшему в мистицизме недалекому вельможе утешением и компенсацией за его будущие хлопоты по списанию десяти-тысячной ссуды.

Действительно, Голицыну пришлось обратиться на высочайшее имя с прошением Гауеншильда о невзыскании с него долга казне. Но срок министерства Голицына уже подходил к концу, и рескрипт Александра I о прощении долга был дан 9 августа 1824 года преемнику Голицына А. С. Шишкову³³.

Что же до библиотеки Гауеншильда, то по сообщению И. И. Селезнева она еще в 1822 году была предложена Лицею в составе 1180 “номеров” за 18 092 рубля. Однако, поскольку “она характером своим походила более на публичное книгохранилище, где собираются в систематическом порядке и непрерывной связи все книги, выходящие в свет на разных языках, не пропуская и тех, которые известны одному лишь только редкостью издания, то в покупке оной отказано”³⁴.

Уже после смерти Гауеншильда в 1831 году его библиотека по распоряжению министра просвещения поступила в Главный педагогический институт, который был воссоздан в 1828 году и подчинялся непосредственно министру. А перевод “Истории государства Российского” был закончен журналистом, издателем, писателем, переводчиком и цензором Евстафием (Августом) Ивановичем Ольдекопом; это был тот самый Ольдекоп, который в 1824 году выпустил мошенническое издание “Кавказского пленника” на русском и немецком языках, а впоследствии цензуровал, и даже запрещал, драматические произведения Пушкина.

Так закончился русский период в жизни Федора Матвеевича Гауеншильда, ограниченного человека с авантюрной жилкой, не оставившего по себе доброй памяти, фигуры трагического неудачника, потерпевшего фиаско в своих трудах, но и этим не вызвавшего даже участия в воспоминаниях современников. Неспособный понять и тем более принять дух Лицея, плохой администратор и предприниматель, образованный и компетентный профессор, но посредственный педагог, Гауеншильд обозначает своим именем нижний уровень лицейской педагогики.



ПРОФЕССОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК Я. И. КАРЦОВ

Среди двенадцати лучших студентов Петербургского педагогического института, отправленных в 1808 году за границу для подготовки к занятию профессорских должностей, был и Яков Карцов. Сын священника, он в 19 лет по окончании Смоленской семинарии “по избранию начальства” был направлен в Петербург, в Учительскую гимназию, которая в 1804 году была преобразована в Педагогический институт. В Петербурге четко обозначилась его склонность к естественным наукам. “В бытность свою в Педагогическом институте удостоен Главным правлением училищ денежного награждения за перевод с немецкого языка опытной физики Г. Шрадера, которая и напечатана от оного правления для преподавания в губернских гимназиях”¹. Книга эта называлась “Начальные основания физики, изданные Главным правлением училищ, для употребления в гимназиях Российской Империи”. Первая часть помечена 1807 годом, вторая - 1808-м. Переводили книгу студенты Педагогического института Ефремов и Карцов. Обе части напечатаны “при Императорской Академии наук”. Ни имя автора, ни имя переводчиков не указано.

Роль физики трактуется в книге так: она “искореняет суеверие, унижающее благородного человека, открывая нам обольщения и нелепости, от коих происходит доверие к привидениям, заклинаниям злых духов, волшебству и многим подобным глупостям,

происходящим от незнания естественных вещей”². О содержании книги можно судить по названиям ее “отделений”:

Введение в физику.

Об общих свойствах тел.

Статика и механика.

Гидростатика и гидравлика.

О простых веществах и составных частях тел трех царств природы.

О теплотворном веществе (“теплотвор”, или “caloricum”, характеризуется здесь как тонкая, легкая и упругая жидкость. - М. А.).

О свете.

Об огне.

О воде.

О воздухе и газах.

О звуке и тоне.

Об электричестве.

О гальванизации или гальваническом электричестве.

О магните.

Всего в обеих частях книги 548 страниц сквозной пагинации, включая содержание и предметный указатель, 3 страницы “погрешностей” и 6 листов таблиц.

Работу студентов над этой книгой нельзя рассматривать как чисто переводческую. В русском тексте оказалось значительное количество дополнений переводчиков. Так, много места в начальных основаниях физики “уделено опытам, выполненным в Петербургской медико-хирургической академии профессором Вас. Петровым”. А во вторую часть книги включено описание проводившихся в ноябре 1807 года Гэмфри Дэви опытов по получению калия и натрия с помощью электролиза. Труд студентов “рассматривал” профессор экспериментальной физики В. Кукольник, которому, как следует из рапорта Конференции Педагогического института попечителю Санкт-Петербургского учебного округа Н. Н. Новосильцеву, принадлежала основная роль в “исправлении” книги Шрадера “по новейшим открытиям”³. Впоследствии, будучи преподавателем Лицея, Карцов не ссылался на переведенную им книгу в качестве учебного пособия. Но тем не менее, думается, она представляет некоторый интерес и при изучении Лицея. Во-первых, рекомендованная незадолго до открытия Лицея в качестве пособия для гимназий, книга по своему содержанию должна была быть близкой к содержанию программы по физике и химии, которой

руководствовался Карцов. Во-вторых, известно, что помимо книг Карцов в Лицее использовал и свои “записки”, на которых переведенная и, следовательно, детально проштудированная им книга должна была в какой-то мере отразиться. Сравнение же программ курса физики младшего возраста Лицея с содержанием “Начальных оснований” показывает совершенно реальную возможность использования книги в качестве пособия для преподавания в Лицее, тем более что в 1815 году книга была переиздана.

Изданием этой книги Карцов на несколько лет опередил своих одноклассников по Педагогическому институту Кайданова и Куницына (последний, правда, поместил в 1806 году статьи в сборнике сочинений студентов института), а также и бывшего старше его де Будри. Конечно, будь в это время Карцов профессором в Лицее, можно было бы преподнести свой труд самому императору или кому-нибудь из членов августейшего семейства и получить в награду бриллиантовый перстень или золотые часы. Но студенту Педагогического института, вчерашнему семинаристу такие мысли, вероятно, и в голову не приходили, тем более что скромная денежная награда тоже наверняка была весьма кстати.

По окончании института Карцов получил чин титулярного советника (IX класс) и звание старшего учителя. Однако это еще не было подлинным началом его педагогической деятельности, так как он был “назначен... к отправлению в чужие края для усовершенствования себя в науках, с тем чтобы по возвращении занять место профессора или адъюнкта в университете”⁴.

23 июня 1808 года Карцов отправился из Петербурга и почти три года провел в лабораториях и аудиториях Иены, Галля, Геттингена, Парижа. В 1811 году Карцов возвращается в Россию, состоя действительным членом Иенского минералогического и Альтенбургского ботанического обществ. По возвращении в Петербург он, как и другие его коллеги, обучавшиеся за границей, сдает установленный для таких случаев экзамен и получает назначение адъюнкт-профессором в открывающийся Царско-сельский лицей. Яков Иванович Карцов стал единственным в Лицее преподавателем естественных и точных наук. Учебная программа с самого начала была построена так, что изучение этих наук должно было “ограничиваться одними первоначальными основаниями, дабы дать более способов к пространному изучению наук словесных. Взамен ограниченности в объеме должно стараться, чтобы основания были сколько возможно более тверды и прочны”⁵. Тем не менее уже в первом трехлетнем цикле обучения алгебра, например, должна была изучаться до кубических уравнений, лицеисты

знакомились с основаниями механики, “математической” (физической) географией. По физике знакомились с “общими и особенными свойствами тел”, магнитными и электрическими явлениями.

Для расширения кругозора лицейстов выписывались научные журналы. Так, на 1811 год было выписано два таких журнала: один на французском языке (журнал Высшей политехнической школы, где сотрудничали такие фигуры, как Лагранж и Лаплас) и один на немецком.

На старшем курсе, в три последующие года, физические науки “переходят в подробное изложение: прежде излагались явления, представлялось историческое описание разных физических действий, теперь изъясняется связь сих явлений и действий с законами природы и причины им”⁶.

В эти три года в математике заканчивалось изучение алгебры, “сферической тригонометрии” и “конических сечений”. Затем следовали прикладные науки: статика, гидравлика, артиллерия и фортификация. Первоначально предполагалось, что все эти науки будет преподавать один человек. При этом для этих предметов еженедельно отводилось по 4 часа.

19 октября 1815 года Карцов доложил лицейской конференции, что с начала обучения им пройдены следующие части “чистой математики: арифметика, все части геометрии, гониометрия и прямолинейная тригонометрия. Алгебра доведена до разрешения уравнений высших степеней. Сверх сего пройдены: приложение алгебры к геометрии, приложение геометрии к алгебре. Конические сечения оканчиваются. Вслед за тем я приступаю к преподаванию сферической тригонометрии и математической географии. Преподавание математической географии отнесено мною в окончательный курс потому, что она основывается на сферической тригонометрии, которая помещена в окончательном курсе”⁷. Кроме того, предполагалось изучение статике, гидравлики и чисто военно-прикладных наук, фортификации и артиллерии.

Характерно, что при преподавании естественных наук особое внимание обращалось на “связь явлений и действий с законами природы и причины им”. Таким образом, хотя курс уступал по объему аналогичным курсам в инженерно-практических учебных заведениях, таких, как Горный кадетский корпус, Лесной институт, Институт корпуса инженеров путей сообщения, конкретные сведения и общие представления, которые мог вынести из Лицея его выпускник, были значительно обширнее, чем у студентов словесных и юридических отделений университетов, тем более - гимназий. Подготовленный М. М. Сперанским указ от 6 августа

1809 года предусматривал, что при производстве в чины VIII и V классов чиновники должны представлять свидетельство об окончании российского университета или сдавать при университете экзамены по русскому и иностранному языкам, естествознанию, арифметике, геометрии, физике, истории и естественному праву. По мысли Сперанского, бывшего автором проекта учреждения Лицея, его выпускники, которые при окончании могли получать чин IX класса и предназначались впоследствии для высших государственных должностей, должны были иметь обширную и разностороннюю подготовку.

Однако и проведение в жизнь указа 6 августа 1804 года, и обучение точным наукам в Лицее на практике столкнулись со многими трудностями, обусловленными российскими традициями и нравами. Длительное время, на протяжении веков жило убеждение, что наука, и прежде всего “цифирное дело”, - не дворянское занятие. Даже такой человек, как Н. М. Карамзин, посмеивался над тем, что по новому закону “вице-губернатор обязан знать Пифагорову фигуру, а надзиратель в доме сумасшедших - римское право”³. Эти слова принадлежат отнюдь не заурядному ретрограду, а одному из образованнейших людей эпохи, который, еще будучи совсем молодым человеком, обращался к восьмилетнему Мишеньке (будущему князю М. С. Воронцову) со стихами:

*Я пел хвалу Наукам,
Которые нам в душу
Свет правды проливают,
Которые нам служат
В час горестный отрадой³.*

Пренебрежение точными науками не было чисто российским изобретением и вполне соответствовало взглядам среднего европейца. Еще в середине XVIII века Дидро в Великой Французской энциклопедии писал: “...считается, что заниматься механическими искусствами или даже просто изучить их - это снизить до вещей, исследование которых трудоемко, объяснение трудно, а размышления над коими неблагородны... Положите на чашу весов с одной стороны действительные блага, доставляемые нам самыми возвышенными науками и самыми прославленными искусствами, а с другой стороны положите все те блага, которые нам доставляют механические искусства. Вы увидите, что почет и уважение, питаемые людьми по отношению к одним и другим, распределены несправедливо... Значительно больше почета воздается людям,

которые заняты лишь тем, что заставляют нас верить в наше счастье, чем людям, которые его действительно создают... Мы требуем пользы от действий человека и презираем полезных людей”¹⁰.

В России же, как отмечалось в пушкинском “Современнике” в 1836 году, “незначащими канцелярскими упражнениями” служащие получают высокие чины и сословные преимущества, чего, как правило, научные занятия не давали вовсе или давали весьма ограниченно¹¹.

Большинство лиценстов к моменту поступления уже вполне усвоило дворянский взгляд на точные науки и “цифирного дела” побаивались. Аттестованный в 1812 году по математике 4-м учеником (“успехи отличные”) Илличевский тем не менее писал в 1814 году об этом предмете:

*О, Уранъи чадо темное,
О, наука необъятная,
О, премудрость непостижная,
Глубина неизмеримая!
Видно, на роду написано
Свыше неким тайным промыслом
Мне взирать с благоговением
На твои розаты прелести,
А плодов твоей учености
Как огня бояться лютого!*

“Признаюсь, и рад еще повторить прозой. В ней, кажется, заключила природа всю горечь неизъяснимой скуки. Нельзя сказать, чтоб я не понимал ее, но... право, от одного воспоминания голова у меня заболела”¹².

Чуть позже, в 1815 году, в “Лицейском мудреце” появились вполне сходные стихи “национальной песни”:

*Кварце, точил бы ты балясы.
Я смеяться так готов.
Но твои мне горче классы
Наших сладких тирогов.
Формулы твои глубоки,
Тянут нехотя ко сну.
Для чего ж меня, жестокий,
Будишь, если я засну*¹³.

А вот воспоминания Корфа обо всем курсе математических наук в Лице: “...математике все мы вообще сколько-нибудь учились

только в первые три года; после при переходе в высшие ее области она смертельно всем надоела, и на лекциях Карцова каждый обыкновенно занимался чем-нибудь посторонним... Во всем математическом классе... знал, что преподавалось, один только Вальховский”¹⁴. Самого Карцова он характеризовал как человека неглупого, острого и язвительного; причем основанием для двух последних характеристик служило в основном не его преподавание, а уже упоминавшиеся “балясы”, от которых класс, по воспоминаниям Корфа, иной раз “помирал со смеха”. По всей видимости, Карцов уделял им немало времени как в силу своего характера, так и для передышки лицеистов, видя их “упорство не сделаться математиками”.

Историк Лицея Д. Ф. Кобеко, опираясь на свидетельство достаточно добросовестного к фактам М. Корфа, пишет, что на выпускном экзамене была сделана “разверстка определенных ролей” не без участия профессоров как в математике, так и в большей части других предметов. Такой порядок производства экзаменов, “сводивший их на степень как бы театрального представления”¹⁵, продолжался до 1843 года, то есть до перевода Лицея из царского дворца на тихую окраину столицы. Этот факт нередко трактуется как показатель плохого качества преподавания в Лицее. Однако такие выводы не представляются обоснованными. Театрализованный акт публичного экзамена, где предполагались вопросы и даже диспуты с приглашенными гостями да еще в присутствии высоких особ, по самой своей природе требует в казенном училище такой “разверстки”, что и делалось, как правило, во всех учебных заведениях, о чем и пишет тот же Кобеко. Тем более, необходимо было это в Лицее пушкинского времени, где не предусматривалось полное заучивание всех предметов программы, как в семинариях. В этих условиях публичный экзамен был парадом, а парад, как известно, и в наше время требует заблаговременной подготовки и репетиций. Более важным представляется в данном случае тот факт, что “разверстка” делалась не только в математике, но и в других предметах, где лицеисты чувствовали себя увереннее и смелее. Напомним, наконец, что читанные Пушкиным на публичном испытании 8 января 1815 года “Воспоминания в Царском Селе” не были ни какой-то вольностью, ни экспромтом. Один из ранних историков Лицея писал: стихи “предварительно рассматривались начальством, были представлены Разумовскому и были прочтены при нем на репетиции, происходившей за несколько дней до экзамена”¹⁶.

Не менее, если не более важным представляется тот факт, что из 29 лицеистов пушкинского выпуска по крайней мере восемь

(И. Пущин, В. Вальховский, Ф. Матюшкин, А. Илличевский, К. Данзас, С. Есаков, П. Саврасов и К. Костенский) в своей служебной деятельности были в достаточной мере связаны с физикой и математикой. Офицеры - штабисты и артиллеристы, моряки, финансисты должны были иметь порядочные знания в этих областях, хотя некоторые из этих восьмерых были среди последних в классе Карцова. Что же до остальных лицеистов, не слишком преуспевших у Карцова, вспомним, как описывает И. Пущин ответ Пушкина в математическом классе: "...вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов спросил его наконец: "Что ж вышло? Чему равняется x^2 ?" Пушкин, улыбаясь, ответил: "Нулю!" - "Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи". Спасибо и Карцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией"¹⁷. Здесь остается только уточнить, что если по лицейской системе оценок "1" означало отлично, "2" - очень хорошо, "3" - хорошо, "4" - посредственно, то "0" расшифровывался как "отсутствие всякого знания".

Случай, о котором рассказывает Пущин, видимо, не был единичным в отношениях Пушкина и Карцова. Аналогичная история звучит в одном из куплетов "национальной песни":

*А что читает Пушкин?
Подайте-ка суды!
Ступай из класса с Богом,
Назад не приходи¹⁸.*

Успехи Пушкина через полгода после начала занятий в Лицее Карцов характеризовал так: "острота, но для пустословия, очень ленив и в классе нескромен, успехи посредственны"¹⁹. Посредственными учениками наряду с Пушкиным названы также Ржевский, Костенский и Юдин. "Успехов ни малейших" - так охарактеризованы Данзас, будущий инженерный офицер, дослужившийся до генерала, и Дельвиц, в 1814 году напечатавший в "Вестнике Европы" стихотворение "К поэту-математику", где декларировалось коренное противоречие между поэтическим и научным отношением к действительности, и до конца жизни сохранивший отвращение к математике²⁰.

Необходимо отметить, что Пушкин, несмотря на устойчивую на протяжении всей жизни личную неприязнь к математике и холодность к естественным наукам, в годы издания "Современника"

заказывал и помещал в своем “чисто литературном” журнале статьи князя П. Б. Козловского, посвященные отдельным вопросам математики и прикладной физики, в большом количестве печатал статистические материалы и сочинения торгово-промышленного характера. Не будучи ни знатоком, ни любителем естественных наук, Пушкин тем не менее имел немалое почтение и к самим этим наукам, и к людям, ими занятым. О серьезности отношения Пушкина к этим вопросам говорит свидетельство П. Б. Козловского, помещенное им в качестве примечания к опубликованной в “Современнике” уже после смерти поэта статье “Краткое начертание теории паровых машин”. Козловский писал, что Пушкин говорил ему, “что иногда случалось ему читать в некоторых из наших журналов полезные статьи о науках естественных, переведенные из иностранных журналов или книг; но что переводы в таком государстве, где люди образованные, которым “Современник” особенно посвящен, сами могут прибегать к оригиналам, - всегда казались ему какою-то бедною заплатою, не заменяющею недостатка собственного упражнения в науках”²¹. Об обещании написать эту статью Пушкин просил напомнить Козловскому князя Вяземского накануне своей дуэли - 26 января 1837 года. Без всякой натяжки можно считать, что, будучи широко образованным человеком, великий ученик Карцова представлял “связь явлений и действий с законами природы”. Безусловно, Пушкин вполне разделял мнение одного из своих ближайших друзей А. И. Тургенева: “Я совсем не охотник до наук точных, а еще менее знаток в оных, но по необходимости должен изредка заглядывать в Академию по понедельникам для того, чтоб быть au courant (в курсе. - М. А.) главных открытий, даже попыток в том, что делается немногими для всех и каждого? Иначе взгляд на мир нравственный, на мир интеллектуальный и даже политический будет не верен. Энциклопедический взгляд не мешает специальности и с тех пор, как я справляюсь об успехах машин и о газе, а я лучше сужу о Лудвиге XIV и о Петре Великом. В науках нравственно-политических соображений сего рода справка с другими сестрами науками еще нужнее, почти необходима; например, в политической экономии, в финансах”²². Эти слова из парижского дневника А. И. Тургенева были помещены Пушкиным в первом номере “Современника” за 1936 год. Свидетельством того, что по крайней мере под конец жизни Пушкин не пренебрегал естественными науками, служит и подмеченное В. Я. Френкелем наличие некоторого количества серьезных книг по этим дисциплинам в личной библиотеке Пушкина. Среди них сочинения Бюффона, Кювье,

В. Франклина, Паскаля, Лапласа, русского физика В. В. Петрова и других авторов²¹.

В первом номере “Современника” за 1836 год Пушкин, издатель и редактор, помимо своих стихов и “Путешествия в Арзрум”, “Коляски” Гоголя и его статьи “О движении журнальной литературы” поместил статью Козловского “Разбор парижского математического ежегодника на 1836 год”, где среди прочих известий русский читатель получал едва ли не первые сведения о метрической системе мер. А в разделе “Новые книги” наряду с художественной литературой, альманахами, историческими сочинениями и учебными изданиями фигурируют и “Правила построения мореходных и речных пароходов”.

Деятельность Карцова - преподавателя точных наук - в гуманитарном лицее, куда он попал вместо предполагаемого университета, таила в себе немало подводных камней. Но, с одной стороны, как в случае с Пушкиным, у профессора хватило ума и такта не утверждать авторитет своей науки ценой подавления ученика. С другой стороны, деятельность лицейского преподавателя математики и естественных наук встречала понимание у министра Разумовского, любителя и знатока ботаники и, следовательно, человека не чуждого и другим естественным наукам. Получив кафедру математических и физических наук, Я. И. Карцов вынужден был по долгу службы немедленно заняться приобретением наглядных пособий и организацией лабораторий (которые в официальных документах назывались “кабинетами”). На это сметой на содержание Лицея выделялись определенные суммы. Причем покупка материалов и заказ оборудования для лаборатории в каждом конкретном случае санкционировались министром просвещения. Уже в 1812 году затраты на “физический кабинет” составили 1443 рубля вместо 1000 рублей по штату. Протоколы Лицейской Конференции за 1811-1817 годы содержат множество предложений Карцова о заказах физического и химического оборудования, закупке материалов и минералов для опытов и коллекций, готовален, а также книг на русском и иностранных языках. “Кабинеты” были наиболее уязвимым местом русских учебных заведений того времени. Так, Московский университет в эти годы имел по сути дела один кабинет - физический, который был весьма беден. Второй кабинет, анатомический, - “истинное богатство университета” - был приобретен лишь в 1818 году за 125 тысяч рублей у Х. И. Лодера. “Скромность” кабинетов-лабораторий была не только следствием пожара 1812 года, а соответствовала взглядам эпохи. Так, известно, что в 1829 году университет из-за отсутствия средств

вынужден был освободиться от адъюнкта практической механики В. Я. Лебедева, в течение трех предыдущих лет изготовившего шесть машин для технологического кабинета. А в 1831 году профессор университета Иовский вынужден был доказывать Совету университета необходимость производства опытов и практических занятий со студентами²⁴. Небогаты были и лаборатории провинциальных университетов. Вообще оснащенность приборами учебного заведения, как правило, зависла не только и даже не столько от старания профессора, сколько от отношения начальствующих лиц и состоятельности жертвователей. В том же Московском университете при попечителе М. Н. Муравьеве шло деятельное пополнение оборудования лабораторий за счет покупки и пожертвований. Однако сочетание этих двух источников весьма осложняло обзаведение необходимыми пособиями в комплексе. В этом отношении положение Карцова, имевшего через директора Лицея короткий ход к министру и казенным суммам, было много лучше, чем у московских и тем более провинциальных профессоров. По принятому в Лицее порядку, одоблив предложение адъюнкта, а с 1816 года профессора Карцова, Конференция препровождала их на “благоусмотрение” Разумовского, у которого Карцов отказа не получал. “Машины” заказывались, как правило, у петербургского механика Роспини. Изделия этого лучшего в Петербурге мастера были настолько дешевле, что иной раз и Разумовскому приходилось непростое. Так, 16 июня 1815 года он соглашается уплатить за приобретенные машины 3160 рублей, но, поскольку “сумма довольно значительна”, министр велел узнать у Роспини, не согласится ли он разделить уплату оной на три срока, так чтобы одна часть была выдана в следующем, 1816 году²⁵. Однако, когда Роспини ждать не захотел, Разумовский согласился выплатить 3160 рублей разом. В 1816 году Карцов представляет список “орудий и материалов, необходимо нужных для прохождения химической и оптической частей физики”²⁶. Среди химических приборов для физической химии мы находим “графитную химическую печь”, “железную реторту для добывания кислородного газа”, прибор “для водосоставления” и другие. Среди двенадцати позиций оптических приборов указаны стекла, зеркала, микроскопы, оптические модели, “земная и небесная зрительные трубы” и кусок исландского хрусталя. Всего на 2385 рублей. На этот раз даже обычно благосклонный к просьбам Карцова Разумовский предложил не заказывать “все вдруг”, а “по мере надобности в оных с возможным уменьшением издержек”²⁷, а пока на первоочередные заказы приказал выдать 600 рублей. Такие ответы, надо сказать, были исключением из правила, хотя,

без сомнения, Карцов был самым “дорогостоящим” профессором в Лицее. Демонстрация же действия приборов и опыты способствовали если не углублению знаний воспитанников, то уж, по крайней мере, расширению их кругозора.

Особые заботы Карцова составляла лицейская коллекция минералов. Собрать ее он начал вскоре после открытия Лицея, но наиболее значительным было приобретение собрания минералов, раковин и руд бывшего садового мастера Буша. Это собрание было куплено Александром I, и в 1818 году оно в качестве царского подарка поступило в Лицей. Хотя этой коллекции ни Пушкин, ни его товарищи по Лицею уже не видели, о ней следует сказать несколько слов. Как доносил в ноябре 1818 года директор Лицея министру просвещения, профессор Карцов эту коллекцию “принял и занимается ныне составлением подробного оному каталога; на первый же случай доставил только краткий список ископаемых, заключающихся в сем собрании”²⁸. Минералогия входила в круг интересов Карцова, и еще в бытность свою на стажировке за границей он был удостоен почетного звания действительного члена Иенского минералогического общества. Об эрудиции Карцова в этих вопросах свидетельствует тот факт, что “краткий список” образцов коллекции Буша имел 2595 позиций. 14 января 1819 года, как свидетельствует журнал меморий конференции, профессор Карцов представил “подробное описание Высочайше Государем Императором подаренной Лицею коллекции минералов и раковин, которое составлено им по препоручению конференции в двух экземплярах” и “Систематическое описание всего минералогического кабинета, ныне находящегося в Лицее”. Конференция просила директора Лицея представить министру “одно из сих описаний” и “обратить внимание его сиятельства на труды профессора Карцова, занимавшегося сверх своей должности в течение 4 месяцев приведением в порядок и описанием сей коллекции, при коей не только описания, но даже и реестров не находилось”²⁹. И в конце года Карцов получил царскую награду - обычный в таких случаях бриллиантовый перстень “в 1000 рублей” за “труды при составлении систематического описания минералогическому кабинету Лицея”³⁰. А Санкт-Петербургское минералогическое общество еще в 1818 году избрало его своим действительным членом.

И все же многосторонность и обширность познаний Карцова не могли быть и не были беспредельными. В 1815 году встал вопрос о преподавании военных наук старшему курсу лицеистов, поскольку выпуск из Лицея предполагался как в статскую, так и в военную службу. Поэтому в Лицее предусматривалось изучение артиллерии

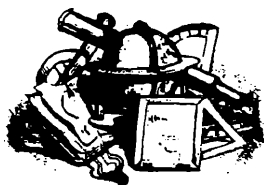
и фортификации, которые рассматривались как отдельные ветви прикладной математики (физики).

Однако Карцов категорически отказался вести эти курсы. В уже упоминавшемся докладе лицейской конференции от 19 октября 1815 года он писал: “В рассуждении преподавания статики, гидравлики, артиллерии и фортификации нужным поставляю объяснить конференции следующее: в состав прикладной математики входит весьма много разнородных особых наук, которая для сего и разделяется на физическую и техническую. К первой принадлежат: а) механические науки как-то: статика, динамика, гидродинамика, гидростатика и аерометрия; в) науки астрономические и с) оптические... Ко второй относятся: практическая механика, гидравлика, гидротехника, гражданская архитектура, артиллерия, фортификация, морские науки. Из сих двух частей входила только первая в круг моих занятий; почему я и не могу принять на себя преподавание наук, означенных в постановлении Лицея, относящихся ко второй части”³¹.

Как видим, здесь Карцов проводит четкую грань между научно-теоретическими дисциплинами и дисциплинами инженерно-практическими. Не имея ни подготовки, ни опыта инженерно-практической деятельности, Карцов отказывается от преподавания соответствующих курсов. Хотя общая его подготовка позволяла ему овладеть теоретически этими разделами прикладных знаний, он не идет по этому пути. При решении вопроса, почему он не стал этого делать, следует иметь в виду прежде всего, что в инженерном деле прежде всего ценился опыт практической деятельности инженера. Приобрести же такой опыт лицейский профессор, конечно, не мог. Поэтому его соображения были признаны Лицейской конференцией основательными, и она обратилась к министру просвещения с предложением пригласить в Лицей для преподавания военных наук кого-либо из офицеров Инженерного корпуса. Так в 1816 году появился в Лицее инженер-полковник Фридрих-Готтлиб (Федор Богданович) барон Эльснер. Этот офицер, имевший богатый опыт практической и педагогической деятельности военного инженера стал преподавать в Лицее военные науки: артиллерию, фортификацию и тактику. Что же до гражданских инженерных наук - практической механики, гидравлики, архитектуры и гидротехники, то их преподавание в Лицее не велось, так как к практической деятельности гражданского инженера лицеисты не готовились. И ни один из соучеников Пушкина не пошел по этой стезе, которая не входила в разряд подобающих выпускникам Лицея.

Отказ преподавать инженерные дисциплины нисколько не повлиял на репутацию Карцова. 8 февраля 1816 года на заседании Лицейской конференции было оглашено предписание министра народного просвещения об утверждении его в звании профессора с правами на чин VII класса (надворный советник). Профессорское звание Карцов получил в один день со своими товарищами по учебе в Педагогическом институте и преподаванию в Лицее - Кайдановым и Куницыным.

В дальнейшем, когда Лицей был передан в военное ведомство, Карцов состоял членом Комитета для рассмотрения учебных книг, в Пажеском и Кадетских корпусах употребляемых. Квалификации у профессора Лицея вполне хватило для того, чтобы читать лекции по физике и механике в офицерских классах морского кадетского корпуса, где эти науки были профилирующими. Авторитет же Карцова был таков, что он получил приглашение преподавать физико-математические науки молодому принцу Петру Ольденбургскому, любимцу Николая I, другу будущего императора Александра II, будущему значительному деятелю русского просвещения. Однако единственной книгой Карцова так и осталась переведенная им в студенческие годы “Физика” Шрадера.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Итак, все шесть лицейских профессоров Пушкина оказались авторами или переводчиками значительных книг научного и педагогического содержания. Этот факт позволяет бросить новый взгляд на качество воспитания и образования, полученного пушкинским курсом Лицея в 1811-1817 годах.

На протяжении более полутора веков по этому вопросу высказывались самые различные, зачастую противоположные мнения. Не претендуя на полноту, приведем некоторые из них, противоположные по выводам и разные по времени.

Еще в сентябре 1815 года после первого своего посещения Лицея, когда он познакомился с Пушкиным, Жуковский писал Вяземскому: “Боюсь я за него этого убийственного Лицея - там учат дурно! Учение, худо предлагаемое, теряет прелесть для молодой пылкой души...”¹ Отзыв довольно категорический, но, кажется, не совсем обоснованный. Вряд ли из своего краткого (“был... на минуту”, - писал сам Василий Андреевич) посещения Лицея он мог составить достаточно серьезное мнение о качестве лицейского образования. Скорее всего его насторожил сам факт пребывания “молодой пылкой души” в закрытом учебном заведении, да и Пушкин, вероятно, поделился с ним своими терзаниями. Так же, как полгода спустя, он сетовал тому же Вяземскому: “Никогда Лицей... не казался мне так несносным, как в нынешнее время... Правда, время нашего выпуска приближается, остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. целый год еще дремать перед кафедрой... это ужасно”². К тому же надо иметь в виду, что, будучи в трепетном восторге от своего нового знакомого, Жуковский был преисполнен страхами и опасениями. В том же письме назвав Пушкина “надеждой нашей словесности”, он спешит добавить: “Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть”. А сам Пушкин, которому предстояло еще долго “дремать перед кафедрой”, менее всего был

склонен принять мысль Жуковского, высказанную им Вяземскому: "...переселить его года на три-четыре в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет!" Но как бы то ни было, мнение современников о лицейском образовании было высказано и игнорировать его нельзя.

В 1863 году выпускник Лицея 1845 года В. П. Гаевский поместил в бывшем пушкинском, а в те годы некрасовском "Современнике" обширную статью, посвященную Лицею пушкинских времен. Эта статья, опирающаяся в основном на воспоминания М. А. Корфа, весьма критически трактует лицейскую систему преподавания. Отмечая, что в 1811 году лицейским профессорам, "которые сами никогда нигде еще не преподавали", предстояло за шесть лет мальчиков 10-14 лет с "ничтожнейшими сведениями" приготовить "к важнейшим частям государственной службы", Гаевский и Корф считают имевшиеся тогда в Лицее возможности совершенно недостаточными для исполнения этой задачи.

План воспитания был "основан не на здравых педагогических понятиях, не на потребностях общества, а на каких-то фантазиях, столько же добродушных, как неудобоисполнимых. Понятно, что при таких шатких основаниях все с начала до конца шло криво и косо"³. В подкрепление этого тезиса Гаевский приводит слова Корфа, где он характеризует Лицей не как гимназию, не университет, не начальное училище, а как "безобразную смесь" и училище, не соответствующее "ни своей особенной, ни вообще какой-нибудь цели".

Уже упоминалось о скептическом характере М. А. Корфа. Однако, каков бы ни был характер этого человека, в своих воспоминаниях он выражал не только скептицизм, но и удивление, как при этой системе Лицею удалось подготовить такое количество замечательных людей "на все пути общественной жизни". К старости многое может казаться странным и даже диким.

В глазах престарелого государственного деятеля, человека высокообразованного, каким безусловно был Корф, полученное в молодости образование может, конечно, казаться недостаточным и скверным. Но по окончании Лицея недостаточность подготовки нисколько не тяготила Корфа. Служба в министерстве юстиции, с которой он совмещал редакторство в Комиссии составления законов и делопроизводство в Сенате, не давали ему повода упрекать Лицей. С уверенностью можно сделать совершенно противоположный вывод. В 1820 году переведенную им книгу "Графодромия, или Искусство скорописи, сочинение Астье, переделанное и примененное к русскому языку бароном Модестом Корфом", он

снабдил посвящением: "Императорскому Царскосельскому Лицею посвящена признательным воспитанником". Поскольку сам Корф служил в это время по другому министерству и у нас нет каких-либо оснований считать, что он имел в это время какие-то виды на Лицей, это посвящение можно считать совершенно искренним. Видимо, в первые годы после выпуска Корф имел наилучшие воспоминания о Лицее, ибо далеко не каждый воспитанник посвящает первую книгу своей "alma mater".

Тем не менее критическое отношение к лицейскому курсу прочно укрепилось в сознании современников и потомков Пушкина. Задолго до публикации в "Современнике" Адам Мицкевич писал о том, что в Лицее Пушкин не мог обучиться ничему, "что могло бы обратиться в пользу народному поэту".

Хотя и в прошлом столетии раздавались голоса в защиту лицейского воспитания (они в основном исходили от более поздних выпускников Лицея), господствующий взгляд на Лицей не менялся.

Даже авторитет первого биографа Пушкина П. В. Анненкова, считавшего русских профессоров - Куницына, Кошанского, Кайданова и Карцова - "передовыми людьми эпохи на учебном поприще", не сильно повлиял на общую оценку Лицея как учебного заведения.

В дни столетия со дня рождения Пушкина П. Н. Полевой, достаточно компетентный и вполне добросовестный автор трехтомной "Истории русской словесности" писал: "...наступили годы лицейского учения, ...не слишком обильные плодами науки, преподававшейся по программам, плохо между собой согласованным, да и при посредстве преподавателей, которые едва ли были способны (за весьма малыми исключениями) внушить своим ученикам любовь к науке и уважение к своей личности"⁴.

Только с появлением научного пушкиноведения в начале XX века, и особенно после 1917 года, взгляд на Лицей и его преподавателей стал меняться. На первый план выдвинулась фигура А. П. Куницына, а вслед за ним А. И. Галича, преподававшего всего один год, какое-то признание получили Н. Ф. Кошанский и директор Лицея В. Ф. Малиновский и Е. А. Энгельгардт. Тем не менее еще в 1939 году такой специалист, как Л. П. Гроссман, в биографии Пушкина писал: "Лицейское шестилетие мало дало Пушкину в плане учебных программ"⁵.

В настоящее время возобладала точка зрения на Лицей как на учебное заведение, вполне соответствовавшее нормам своего времени или даже опережавшее его. Все чаще в адрес Лицея и его преподавателей произносятся эпитеты: лучшие, образцовые, прекрасные.

В изданном в 1981 году массовым тиражом очерке Е. А. Маймина "Пушкин. Жизнь и творчество" при общей весьма высокой оценке роли лицейского воспитания и образования в жизни Пушкина А. П. Куницын и А. И. Галич аттестуются как "лучшие по тому времени учителя". А в узкоспециальной, весьма содержательной статье "Круг чтения лицейстов пушкинского времени" В. В. Головин пишет, что преподаватели Лицея "были крупнейшими учеными того времени"⁶.

Среди значительных работ последнего времени, разделяющих в основном мнение о высоком качестве лицейского обучения, следует указать сборник очерков М. П. и С. Д. Руденских "Наставникам... за благо воздадим" (Л., 1986) и исследование З. И. Ривкина "Педагогика Царскосельского лицея пушкинской поры. 1811-1817" (М., 1993).

Однако прежде чем, основываясь на авторской и издательской деятельности лицейских профессоров, попытаться приблизиться к истине в этом вопросе, отдадим себе отчет, что представляли собой учебные заведения России того времени.

Реформа просвещения первых лет царствования Александра I, в развитие преобразований Екатерины II, предусматривала открытие новых университетов, гимназий (в каждом губернском городе), уездных училищ (вплоть до каждого уездного городка) и, наконец, приходских училищ, которые можно было заводить в каждом церковном приходе, не рассчитывая на государственные средства.

И новые учебные заведения, прежде всего университеты и гимназии, начали открываться по всей стране.

Естественно, что уровень преподавания и преподавателей в большинстве новооткрытых учебных заведений был невысок. Так, выпущенный в 1812 году из третьего класса Рязанской гимназии (гимназии тогда состояли из четырех классов) В. А. Докудовский так характеризовал свое гимназическое обучение: "Надобно сознаться, что в то время ученические мои знания, почерпнутые в гимназии, весьма были ограниченные... В оправдание свое замечу, что в гимназии обучение происходило крайне небрежно и никто не обращал внимания ни на успехи и поведение учеников, ни на педагогические способности учителей. Директором гимназии был прокурор, весьма редко классы посещавший..."⁷ Такое положение не было чем-то исключительным. Ставший в 1820 году директором пензенских училищ писатель И. И. Лажечников так описывает свое первое посещение пензенской гимназии: "Еще в передней слышались мне детские голоса и между ними крики: "Ура!" Только что я хотел войти в классную комнату, как перед моим носом

распахнулась дверь: ватага гимназистов хлынула через нее и едва не сшибла меня с ног. Школьники несли на руках учителя русской словесности, в каком положении, можете догадаться. “Что это вы делаете?” – спросил я их. “Мыши кота погребают”, – отвечали они”⁵. Не лучше были и другие учителя гимназии, до тех пор пока в Пензу не прибыло несколько учителей, прошедших университетский курс.

А учившийся уже в годы заведования Лажечникова в этой же гимназии Г. И. Филипсон пишет в унисон ее директору: “Учителя были плохи. Некоторые приходили в класс пьяными, рукам давали большую волю, но учебем не стесняли... Перемены продолжались по часу, а часто учителя совсем не приходили. Свободное время употреблялось на кулачные бои, класс на класс. Надзору никакого. Грязь была везде невообразимая”⁶.

Даже в таком не рядовом учебном заведении, как открытая в 1820 году “Гимназия высших наук князя Безбородко” в Нежине, преуспевали на профессорских кафедрах сплошь да рядом весьма посредственные преподаватели. Так, старший профессор российской словесности П. И. Никольский до поступления в 1821 году в нежинскую гимназию преподавал философию, политическую экономию, “изящные науки”, латинский язык. Такой диапазон скорее свидетельствует о дилетантском уровне преподавателя, чем о его энциклопедизме. Что касается русской словесности, то Никольский, по воспоминаниям гимназистов, не стеснялся править пушкинские стихи, пребывая в уверенности, что у него получается лучше. Под стать ему был преподаватель латыни выпускник Черниговской семинарии И. Г. Кулжинский, беллетристика которого была предметом насмешек его учеников (сочинение Кулжинского “Малороссийская деревня” Гоголь назвал “литературным уродом”). Не лучше был и М. В. Билевич, преподававший до Нежина естественные науки, немецкий язык, коммерцию, технологию и физику, а в Нежине бывший профессором сперва немецкой словесности, а затем политических наук. Состав профессоров в Нежине, как и в других местах, был весьма неоднороден, но именно Билевича и подобных ему преподавателей учившийся у них Н. В. Гоголь называл “профессорами-школярами”.

Не следует видеть только темные пятна в русской школе первой четверти XIX века. Но, видимо, истина в первом приближении состоит в том, что в русском просвещении в это время с людьми образованными, людьми передовых научных и общественных взглядов широко соседствовали люди весьма отсталых, чтобы не сказать архаичных, знаний и убеждений и чрезвычайно скромной учености.

Причем это было характерно не только для новооткрытых училищ, но и для старых учебных заведений.

Достаточно вспомнить “маловскую историю”, происшедшую в Московском университете уже в 1831 году, когда там учились Лермонтов и Герцен. Даже в эту значительно более позднюю эпоху Герцен так описывал, быть может с несколько обостренным скептицизмом, Московский университет: “В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили. Профессора составляли два стана: ...один состоял исключительно из немцев, другой - из не немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые... отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которые они никогда не снимали. Не немцы... не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались... в черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не немцы из поповских детей”¹⁰.

Таково было положение в старейшем и безусловно лучшем в то время российском университете.

А вот свидетельство И. С. Тургенева, окончившего в 1837 году филологический факультет Петербургского университета и в 1838 году отправившегося доучиваться в Берлин: “Мне было всего 19 лет, об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей Санкт-Петербургского университета не было ни одного, который мог бы поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были им проникнуты; его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров, посылавшее на свой счет молодых людей в немецкие университеты... В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших заведениях, приведу следующий факт: я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бока - а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которую знал плохо. И я был не из худших кандидатов”¹¹.

Но вернемся в первую четверть века. Это время в России характеризуется резким расширением интереса образованных слоев общества ко всем отраслям гуманитарных наук. Не претендуя на

полное или хотя бы подробное освещение этого вопроса, приведем как чрезвычайно характерные ответы ровесника Пушкина декабриста Павла Колошина на вопросы следствия о воспитании. Получив в Москве очень неплохое домашнее воспитание (среди русских и иностранных его учителей был, кстати, Н. Ф. Кошанский), дополненное уроками математики и военных наук в Училище колонновожатых, он впоследствии в Петербурге слушал лекции по физике, брал уроки русского языка у профессора Толмачева, слушал лекции по политической экономии у Куницына (последние происходили в квартире Фредерикса - в 1825 году полковника восставшего Московского полка, раненного 14 декабря при попытке задержать выход полка на Сенатскую площадь).

В Москве П. И. Колошин для сдачи экзамена на чин коллежского асессора “брал уроки у профессоров на дому: русского языка, истории, статистики - у Мерзлякова, римскому праву, теории законов, политической экономии - у Цветаева, арифметики, геометрии и физики - у Чумакова”¹².

Здесь интересным представляется не только тот факт, что молодой человек, уже находясь на службе, имея чины и награды, систематически пополнял свое образование, но и сами имена его учителей. Наряду с опережающим свое время Куницыным здесь упоминается его коллега профессор Московского университета Цветаев, человек далеко не ретроградного образа мыслей, оказавший большое влияние на учившегося у него будущего декабриста Николая Тургенева. Из филологов здесь упоминаются уже несколько устаревший ко времени повествования московский профессор Мерзляков, пользовавшийся несмотря ни на что большим авторитетом среди самых широких слоев современников, и вызывавший насмешки и недоумение профессор кафедры российской словесности Петербургского университета Толмачев, который в своих этимологических изысканиях возводил “республику” к “режь публику”, а “кабинет” - “как бы нет”, поясняя при этом, что первое вполне сообразуется с образом республиканского правления, а второе отражает возможность обозрения человека, удалившегося в кабинет, людьми, оставшимися снаружи, - “его как бы нет”. Надо отметить, что профессор Я. В. Толмачев не был уникальным светилом на небосводе русской филологии начала прошлого века. Рядом с ним можно поставить С. В. Руссова, настаивавшего на том, что “...греческий язык есть не иное что, как испорченный древний славянский, что оный древний славянский употребляем был в Греции, как ныне греческий и латинский у нас. Слова “поэзия”, “поэт”, “поэма”, очевидно, происходят от славянского глагола

“петь”, “пою”, “поет”; “эпопея” - от сложного глагола “попеть”¹³; слово “ода”, по мнению Руссова, чистосердечно признававшегося, что греческого языка он не знает, произошло от восторженного восклицания восхищенных слушателей “о да!”; “омир” - от “о мир”. О некоторых филологических изысканиях президента Российской академии А. С. Шишкова говорить не стоит, так как он не был профессионалом.

Недалеко от них ушел член Российской Академии наивно-простодушный в своих быстро устаревших переизданиях “Зеркала российских государей” С. Т. Мальгин и далеко их превзошел “просвещенный собиратель” А. И. Сулакадзев, о беспардонные фантазии которого спотыкаются порой и неосторожные наши современники.

Процесс размежевания ученого поиска и дилетантского сочинительства “на досуге” в это время был еще далеко не закончен и подобные рассуждения наряду с откровенной фальсификацией типа сулакадзевских творений находили в определенных кругах отклик и положительные оценки.

Нам же представляется наиболее важным, что ни Я. В. Толмачев, ни С. В. Руссов, ни им подобные хода на кафедры Лицея не имели.

Нельзя сказать, чтобы невежды не попадали в штат Лицея, но атмосфера этого учебного заведения была такова, что они там либо не удерживались, либо, несмотря на выслуженные ими высокие чины, оставались на скромных, соответствующих их возможностям должностях, как, например, и произошло с пушкинским учителем чистописания Ф. П. Калиничем.

Молодые же лицейские преподаватели в отличие от большинства своих российских коллег получили прекрасное по тем временам светское образование, что было в новинку. Тот же Я. В. Толмачев, бывший, кстати, также автором многочисленных учебников и, как писали современники, наживший “себе очень хорошее состояние”, получил образование только духовное, что резко отделяет его научно-педагогический уровень от уровня лицейских профессоров, с которыми он был почти ровесником.

Безусловно, что служба в Лицее, то есть близость к царскому двору и непосредственное подчинение министру просвещения, способствовали и авторской и издательской деятельности лицейских профессоров. Но при всем при том, сам факт, что все они были авторами или переводчиками значительных по своему содержанию и весьма распространенных книг, представляется почти уникальным в истории русских учебных заведений того времени.

Следует особо подчеркнуть, что на период пребывания Пушкина в Лицей и ближайшие к нему годы пришелся пик авторской активности его учителей. Этот факт представляется тем более важным, что в это время отсутствовала какая-либо система переподготовки и повышения квалификации для работников умственного труда. И хотя с высот нашего времени эта эпоха порой представляется тихой, медленной и инертной с точки зрения прогресса, на самом деле было далеко не так. Гуманитарные сведения старели, пожалуй, еще быстрее, чем сейчас. Как мы знаем, книги некоторых учителей Пушкина пережили себя и со временем стали притчей во языцех и неизменной мишенью для остроумия пишущей братии. Для нас же первостепенное значение имеет то, что Пушкин занимался по первым изданиям книг своих учителей или по конспектам, которые легли в основу будущих их учебников. Следовательно, лицеисты слышали и читали свежее слово науки своего времени. Причем современникам книги некоторых лицейских профессоров представлялись, помимо всего прочего, и литературными событиями. Во всяком случае, в 1822 году А. А. Бестужев в темпераментной статье “Почему?” упрекал Н. И. Греча в том, что он в своем “Опыте краткой истории русской литературы” не поместил “...г. Кайданова за “Историю”, г. Кошанского за открытие новых начал в “грамматике русской” и некоторых других”¹⁴. Эта статья была напечатана в лучшем русском журнале тех лет “Сын Отечества”, редактировал который Греч, и где Бестужев был постоянным сотрудником.

Мнение П. В. Анненкова, считавшего четырех молодых русских преподавателей Лицея передовыми людьми эпохи, не является ни преувеличением, ни натяжкой, и в значительной степени может быть отнесено к профессорам из иностранцев.

Характерно, что Анненков сумел соблюсти здесь меру, не считая ни одного профессора Лицея светочем на поприще науки.

Большинство книг лицейских профессоров Пушкина составляли учебники и учебные пособия. К ученым сочинениям можно отнести лишь немногие сочинения. Это “Краткое изложение дипломатики Российского двора” Кайданова и вышедшее посмертно “Изображение древнего судопроизводства в России” Куницына, и в какой-то мере можно считать научным трудом “Право естественное” и докторскую диссертацию Кошанского. Остаются неизвестными нам некоторые рукописи Куницына и написанные в Австрии работы Гауеншильда. Что касается его перевода “Истории” Карамзина, то общий уровень переводов в то время не дает этой работе Гауеншильда права претендовать на отнесение к категории научного

труда, хотя его перевод способствовал развитию европейской славистики.

Если руководствоваться известным принципом, что в жизни писателя главные факты биографии - его книги, то профессора Лицея предстают перед нами прежде всего педагогами и воспитателями и в гораздо меньшей степени учеными-исследователями.

Причиной такой специализации молодых и подбора опытных преподавателей для Лицея был, думается, прежде всего характер этого учебного заведения. Основанный под большим влиянием французских просветителей, Лицей был предназначен для юношей третьего и четвертого периодов детства по классификации воспитания детей, предложенной Руссо. Согласно этой схеме третий период детства - от двенадцати до пятнадцати лет, - предназначен в основном для умственного воспитания, а четвертый - от пятнадцати до восемнадцати лет, - для нравственного. По всей вероятности, не без влияния идей Руссо был выбран и возраст мальчиков для поступления в Лицей и продолжительность обучения в нем. Соответствовало его классификации и деление лицейского обучения на два трехлетних цикла. Правда, столь четкого деления на обучение "умственное" и "нравственное" не было, но в программу заложили первоначальное изучение основ наук с последующим углублением и осмыслением усвоенных знаний. Так, история должна была быть усвоена воспитанниками "как шествие нравственности... в разных превращениях государств", что вполне соответствовало взглядам Руссо.

Итогом обучения словесности в Лицее должно было стать умение воспитанников написать на любую заданную тему сочинение "правильное, ясное... изящное, не простое, не высокопарное", что свидетельствовало бы не только об усвоении основ грамматики и филологии, но и об умении мыслить и чувствовать. В соответствии с идеалом уединенности и удаленности от света, Лицей был закрытым учебным заведением. Если ко всему этому добавить, что Лицей был предназначен для воспитания и образования будущих высших чиновников империи, то сделаются ясны его исключительность и несходство с прочими учебными заведениями России. Будучи училищем особенным, он в отличие от прочих подчинялся непосредственно министру просвещения и не имел аналогий в системе государственного просвещения. Еще современники говорили, что Лицей - "это не пансион, не училище, не университет, а все вместе".

И все же в пушкинское время Лицей менее всего был университетом, хотя молодые учителя его в свое время были направлены за границу на стажировку для последующего занятия profes-

сорских кафедр университета, и их товарищи, не определенные в Лицей, действительно становились университетскими профессорами. Однако оба русских министра просвещения, занимавшие этот пост в бытность Пушкина в Лицее, смотрели на Лицей отнюдь не как на привилегированный, предназначенный только для дворян университет. Они четко улавливали разницу между Лицеем и университетом.

Еще во всеподданнейшем докладе, критикуя первоначальный проект Лицея, Разумовский писал: “Знания, всякому благовоспитанному приличные, надлежит различать от наук, в особенности нужных только некоторого состояния людям. Но в начертании Лицея на сие внимание не обращено. Предписывается в нем обучать, например, химии, астрономии и другим отвлеченнейшим частям математики. Нужны ли сии науки министру, судье, дипломату и другим состояниям обыкновенной гражданской службы? Нет сомнения, что и между воспитанниками Лицея будут редкие таланты, кои по особой склонности могут углубиться в сии науки, но таковым открыт путь в университеты, где преподаются науки во всей обширности”¹⁵. Любопытно, что эти слова принадлежат высокообразованному человеку, имевшему солидные познания в ботанике и смежных областях.

Через несколько лет ему вторит сменивший его Голицын, который на донесение Куницына с предложением уменьшить диапазон “нравственных наук” и углубить их преподавание отвечал: “Великая разница между преподаванием наук во всей их обширности людям, имеющим уже многие познания и долженствующим в какой-либо части дойти до совершенства, как то бывает в университетах, и обучение главным только основаниям сиих наук в Лицее, где молодые люди образуются к особенной цели, не требующей глубоких знаний”¹⁶.

Если учесть, что однокашники Пушкина по окончании курса выбрали самые различные “части” службы от министерств иностранных дел и финансов до артиллерии и военного флота, то будет понятна безнадежность попытки обучить лицеистов всем потребным для них наукам. В жизни всем им, достаточно серьезно относившимся к службе, пришлось пройти основательную, говоря современным языком, стажировку и специализацию.

Что касается университетов, то хотя ни один выпускник пушкинского курса туда не пошел, впоследствии лицеисты официально получили право по окончании Лицея слушать в течение двух лет лекции в университете, числясь на действительной службе, что давало преимущество в чиновном производстве. Таким образом, широкая

и достаточно глубокая подготовка, полученная в Лицее, позволяла достаточно быстро специализироваться в любой отрасли знаний, куда выпускник Лицея приходил, уже имея представление о характере своей будущей деятельности. Этот принцип впоследствии получил широкое развитие в европейском образовании. Можно указать на пример великого физика XX века Макса Борна, которому отец, преподаватель анатомии, несмотря на увлеченность сына техническими дисциплинами, советовал “не сразу выбирать специальность, а посещать сначала лекции в университете по различным дисциплинам и затем через год принять окончательное решение”¹⁷. Известно и афористическое выражение Альберта Эйнштейна: “Достоевский дал мне больше, чем Гаусс”. Вообще с полным основанием можно сказать, что “атомный” и “кибернетический” XX век именами своих корифеев физики вполне подтвердил необходимость фундамента широких знаний для любого творца и просто работника высокой квалификации.

Что же касается Пушкина, он никогда не приравнивал свое образование к университетскому и на всю жизнь сохранил определенный пиетет перед университетским дипломом. Достаточно вспомнить его отзыв о тригорском соседе А. Н. Вульфе: “Он много знал, чему научиваются в университетах, между тем как мы с вами выучивались танцевать”¹⁸. Говоря о Вульфе, Пушкин часто именовал его студентом, в этом, видимо, в глазах Пушкина было существенное его отличие от прочих знакомых.

При первом сравнении Лицей более походит на гимназию своего времени, выпускники которой вообще, как правило, не получали профессиональной подготовки. В гимназии того времени поступали выпускники уездных училищ. Четырехлетний курс гимназии велся восемью учителями: один преподавал математику и физику, другой - историю, географию и статистику, третий - философию, политэкономия и изящные науки, четвертый - естественную историю и начала технологии и торговли, по одному преподавателю вело латинский, французский и немецкий языки и один преподаватель вел рисование. Наличие остальных учителей - танцев, музыки, гимнастики - зависело от доходов гимназии.

Как видим, основной штат преподавателей гимназии соответствовал штатам Лицея, но в Лицее они имели более высокую квалификацию, а шестилетний курс обучения позволял изучать науки и более углубленно и более широко, чем в гимназии.

По-видимому, был прав “Лицейский журнал”, который в 1904 году писал: “Когда говорят о слабости лицейской научной подготовки, обыкновенно имеют в виду юридический факультет универ-

ситета, к которому старший курс Лицея приближается по своей программе, забывая при этом различие целей, преследуемых тем и другим. Лицей вовсе не имеет претензии называться храмом науки, задачи его лучше всего характеризуются его девизом служить “для общей пользы” на каком бы то ни было поприще. Но для успешного выполнения этих задач необходимо не специальное юридическое образование, какое получается в Университете, а более энциклопедическое, общее, дающее понятие об общих свойствах человеческого духа и его проявлениях права, истории и литературы”¹⁹. В подобных специалистах остро нуждается Россия и сегодня.

Таким образом, с пушкинских времен наука и научные исследования не попадали в сферу учебных программ Лицея и именно этим объясняется преобладание учебных книг в творчестве его профессоров. С другой стороны, характерно, что в пушкинское время, когда не было резкой дифференциации между учебными заведениями как в наше время, преподавание в Лицее, гимназиях и университете велось по одним и тем же учебникам, как это было, например, с “Правом естественным” Куницына и “Историей” Кайданова.

Кстати, тяготевший к научным изысканиям Куницын после первого лицейского выпуска, как мы знаем, начал совмещать преподавание в Лицее с преподаванием в университете.

Подводя итог знакомству с книгами лицейских профессоров Пушкина, мы можем уверенно сказать, что их авторы были вполне квалифицированными преподавателями своих наук и **никак** не заслуживают упреков в отсталости или невежестве.

Феномен пушкинского выпуска Лицея, давшего столько блестящих имен в русской истории, важен не только с точки зрения истории XIX века, он не менее важен и для сегодняшнего дня, когда вопросы воспитания и образования приобрели еще более широкое развитие, чем полтора-два века назад. Конечно, Пушкин явление исключительное. И вряд ли можно предположить, что, учись он в Московском университете, Пажеском или Кадетском корпусах, Пушкин не стал бы Пушкиным (с другой стороны, правда, трудно, если не невозможно представить “наставников, хранивших юность нашу”, с розгой в руках или пьяными на руках воспитанников: необходимость временной дистанции от порки до свободы духа отмечена давно). Но ведь Великое Имя оказалось в окружении блестящей плеяды поэтов, общественных и государственных деятелей, таких, как Дельвиг и Кюхельбекер, Пущин и Вальховский, Горчаков, Корф, Матюшкин - людей, которые оставили свое имя в истории народа и государства не только тем, что учились с Гением

(характерным представляется, что из семи названных имен только двое достигли штатных вершин в государственной службе, а прочие оставили о себе память силою своего духа, собственным светлым “Я”). И весь этот далеко не полный перечень вырос из имен всего-то тридцати мальчиков, принятых в Лицей.

Педагогическая и научная квалификация преподавателей есть условие необходимое, но не достаточное для воспитания и образования учащихся. Можно с уверенностью утверждать, что квалификация лицейских профессоров Пушкина соответствовала высшему уровню эпохи и ни в коем случае не служила препятствием высокому образованию и воспитанию лицеистов. Причем этот уровень, в отличие от других учебных заведений России, по счастливому стечению обстоятельств обеспечивался русскими педагогами. Иностранцы-профессоры были привлечены только к преподаванию иностранных языков, где они безусловно были предпочтительнее своих русских коллег.

Другим фактором успеха следует считать систему преподавания в Лицее. Широкий диапазон наук, свободное преподавание, когда в отличие от большинства других учебных заведений России не требовалось стопроцентное усвоение обязательного, единого для всех минимума знаний при отсутствии телесных наказаний, давали возможность не только бесконечно расширять кругозор юношей, но и позволяли им углублять и развивать свои интересы в соответствии с личными склонностями. Немалую роль сыграл здесь и образ жизни в Лицее: отдельные “нумера” для каждого лицеиста, здоровая пища, соблюдение требований гигиены при достаточности свободного времени. Не менее удивительным, чем имена первого выпуска Лицея, является тот факт, что из тридцати воспитанников за шесть лет только один был отчислен и ни один не умер. Полное отсутствие смертности среди воспитанников Лицея - явление чрезвычайное для своей эпохи.

Таким образом можно считать, что предложенный Сперанским эксперимент по созданию “нового человека” в основном удался. С ослаблением же первоначальных принципов, по мере сближения Лицея с прочими казенными училищами Империи, он терял свои уникальные свойства, все более превращаясь в обычное привилегированное учебное заведение, гревшееся в лучах славы прошлого.



ПРИМЕЧАНИЯ

УЧЕБНИКИ И УЧЕНИКИ ПРОФЕССОРА КАЙДАНОВА

- ¹ Сведения о службе И. К. Кайданова взяты из его формулярного списка, хранящегося в Центральном Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Ф. 11, оп. 1, д. 3656.
- ² *Анненков П. В.* Александр Сергеевич Пушкин в александровскую эпоху, 1799-1826 гг. СПб, 1874, с. 31.
- ³ *Селезнев И.* Исторический очерк Императорского, бывшего Царско-сельского, ныне Александровского Лицея за первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 г. СПб, 1861, с. 88.
- ⁴ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 59, лл. 2-3 об.
- ⁵ *Кайданов И. К.* Основания всеобщей политической истории. Часть первая. Древняя история. СПб, 1814, с. XIII.
- ⁶ То же, с. XIII.
- ⁷ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3656, л. 14.
- ⁸ Там же, л. 16.
- ⁹ Там же, л. 16.
- ¹⁰ Там же, лл. 17-18.
- ¹¹ Там же, л. 19.
- ¹² Там же, л. 20.
- ¹³ Там же, л. 21.
- ¹⁴ Там же, л. 22.
- ¹⁵ РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 183, л. 27.
- ¹⁶ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3656, л. 25.
- ¹⁷ Там же, л. 29.
- ¹⁸ Там же, л. 27.
- ¹⁹ Там же, л. 38.
- ²⁰ Там же, л. 49.
- ²¹ *Кайданов И. К.* Начертание истории государства Российского. СПб, 1829 г. Предупреждение.
- ²² *Грот Я. К.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб, 1899, с. 61.
- ²³ *Пуцин И. И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 59.
- ²⁴ *Грот К. Я.* Пушкин в Лицее летом 1831 года. В сборнике: "Пушкин. Исследования и материалы", Т. IV, 1962, с. 402.
- ²⁵ *Грот К. Я.* Пушкинский Лицей (1811-1817). СПб, 1911, с. 356-357.
- ²⁶ Памятная книжка Императорского Александровского Лицея на 1856 - 1857 год. СПб, 1856, с. XIII-XIV.
- ²⁷ *Кобеко Д.* Императорский Царскосельский Лицей. Наставники и питомцы (1811-1843). СПб, 1911, с. 102-103.
- ²⁸ *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. М.-Л., изд. АН СССР, 1937-1959. Т. XIII, с. 314.

- ²⁵ Честерфилд. Письма к сыну. Максими. Характеры. Л., 1971, с. 6.
- ³⁰ Литературное наследие декабристов. Л., 1975, с. 142.
- ³¹ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. III, с. 89.
- ³² Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М. - Л., изд. АН СССР, 1937-1949. Т. II, с. 134.
- ³³ Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816-1824 годы. Петроград, 1921. Т. III, с. 94.
- ³⁴ Пекарский П. П. Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755-1764 годов. СПб, 1867, с. 52.
- ³⁵ Кайданов И. К. Основания всеобщей политической истории. Часть первая. Древняя история. СПб, 1814, с. XIII.
- ³⁶ Кайданов И. К. Руководство к познанию всеобщей политической истории. Часть первая. Древняя история. СПб, 1826, с. 4.
- ³⁷ Бюлингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978, с. 42.
- ³⁸ Кайданов И. К. Основания всеобщей политической истории. Часть первая. Древняя история. СПб, 1814, с. 41.
- ³⁹ Кайданов И. К. Руководство к познанию всеобщей политической истории. Часть первая. Древняя история. СПб, 1826, с. 195.
- ⁴⁰ Политическое направление "Истории" Кайданова и эволюция его взглядов рассматривается в книге Б. С. Мейлаха "Пушкин и его эпоха". М., 1958.
- ⁴¹ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М. - Л., изд. АН СССР, 1937-1949. Т. XI, с. 46.
- ⁴² Воспоминания Корфа в книге: Грот Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Статьи и материалы. Изд. 2, СПб, 1899, с. 226.
- ⁴³ Русская старина. 1900, т. 104, № 10, с. 11.
- ⁴⁴ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3656, л. 264.
- ⁴⁵ Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1954. Т. 5, с. 487.

КНИГИ ПРОФЕССОРА КУНИЦЫНА

- ¹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3727, л. 2.
- ² Государственный архив Тверской области (ГАТО), ф. 160, оп. 1, д. 16389, л. 249.
- ³ ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 16387, л. 83.
- ⁴ ГАТО, ф. 575, оп. 1, д. 915, л. 49.
- ⁵ ЦГИА СПб, ф. 139, оп. 1, д. 623, л. 1.
- ⁶ Пушчин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988, с. 36.
- ⁷ РГИА, ф. 777, оп. 2, д. 182, л. 254.
- ⁸ РГИА, ф. 777, оп. 27, д. 5, л. 98.
- ⁹ РГИА, ф. 777, оп. 2, д. 182, л. 269.
- ¹⁰ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937-1959. Т. XII, с. 308.
- ¹¹ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937-1959.

- Т. III.1, с. 432, т. III.2, с. 1042. Первоначально Пушкин писал: “пламенный Куницын”.
- ¹² *Селезнев И.* Исторический очерк Императорского, бывшего Царско-сельского, ныне Александровского Лицея за первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 г. СПб, 1861, с. 89.
- ¹³ *Кобеко Д.* Императорский Царскосельский Лицей. Наставники и питомцы. 1811-1843, СПб, 1911, с. 158.
- ¹⁴ *Грот К. Я.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб, 1899, с. 228.
- ¹⁵ *Грот К. Я.* Пушкинский Лицей (1811-1817). СПб, 1911, с. 232-233.
- ¹⁶ *Пуцин И. И.* Записки о Пушкине. Письма М., 1988, с. 48. A livre ouvert - с листа без подготовки.
- ¹⁷ *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1-я (1813-1824). М. - Л., 1956, с. 688.
- ¹⁸ Литературное наследство. Т. 16-18. М., 1934, с. 445.
- ¹⁹ *Никитин А. Г.* Секретная рукопись Пушкина. М., 1992, с. 209-218.
- ²⁰ *Косачевская Е. М. А. С. Пушкин и Петербургский университет.* Вестник Ленинградского университета. 1979, № 8, вып. 2, с. 26.
- ²¹ *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. VI, с. 8.
- ²² *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. XIII, с. 133. Письмо П. А. Плетнева от 22.01.1825 г.
- ²³ *Грот Я. К.* Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб, 1899, с. 228.
- ²⁴ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3727, л. 18.
- ²⁵ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 26, лл. 76, 80.
- ²⁶ Литературный современник. 1937, № 1, с. 255.
- ²⁷ С открытием в 1814 году при Лицее Благородного пансиона Куницын, как и другие лицейские профессора, преподавал и в Лицее, и в пансионе.
- ²⁸ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3727, л. 21.
- ²⁹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3727, л. 22.
- ³⁰ Более подробно об И. Иоаннесове и его типографии см.: Книга. Исследования и материалы. № 70, М., 1995, с. 130-156.
- ³¹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 110, л. 19.
- ³² ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 1, д. 146, л. 1.
- ³³ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 728, л. 119.
- ³⁴ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 728, л. 147.
- ³⁵ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 139, л. 13.
- ³⁶ Русский архив, 1889, № 7, с. 362-363.
- ³⁷ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 728, л. 198.
- ³⁸ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 728, л. 205.
- ³⁹ *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937-1959. Т. II.1, с. 268.
- ⁴⁰ *Никитин А. Г.* Секретная рукопись Пушкина. М., 1992, с. 224 - 235.
- ⁴¹ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 728, л. 206.
- ⁴² Русская старина, 1901, т. 106, № 5, с. 381.
- ⁴³ Русская старина, 1896, т. 88, № 11, с. 311.

- ⁴⁴ Русская старина, 1901, т. 106, № 5, с. 380.
- ⁴⁵ Русская старина, 1901, т. 106, № 5, с. 381.
- ⁴⁶ Русская старина, 1901, т. 106, № 4, с. 157.
- ⁴⁷ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 728, л. 205.
- ⁴⁸ Там же, л. 239.
- ⁴⁹ Там же, л. 240.
- ⁵⁰ Там же, л. 243.
- ⁵¹ ИРАИ, ф. 263, оп. 2, д. 95, л. 1. Архив Д. П. Рунича.
- ⁵² ИРАИ, ф. 263, оп. 2, д. 95, л. 54. Архив Д. П. Рунича.
- ⁵³ РГИА, ф. 732, оп. 1, д. 20, л. 25.
- ⁵⁴ *Косачевская Е. М. М. А. Балугьянский и Петербургский университет первой четверти XIX века. Л., 1971, с. 79 - 81.*
- ⁵⁵ РГИА, ф. 732, оп. 1, д. 20, л. 25.
- ⁵⁶ *Ерошкин Н. П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. М., 1981, с. 126.*
- ⁵⁷ РГИА, ф. 732, оп. 1, д. 20, л. 25.
- ⁵⁸ Там же, лл. 27 - 28.
- ⁵⁹ *Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.). М.-Л., 1964, с. 435.*
- ⁶⁰ *Фонвизин Д. И. Собрание сочинений в двух томах. 1959, т. 2, с. 255.*
- ⁶¹ Исторический сборник вольной русской типографии в Лондоне. Книжка первая, 1859, с. 35.
- ⁶² *Курмачева М. Д. Крепостная интеллигенция России. М., 1983, с. 304.*
- ⁶³ Голос минувшего. 1913, № 3, с. 133, 149, 158.
- ⁶⁴ РГИА, ф. 732, оп. 1, д. 20, л. 35.
- ⁶⁵ РГИА, ф. 733, оп. 102, д. 52, л. 10.
- ⁶⁶ РГИА, ф. 732, оп. 1, д. 20, л. 30.
- ⁶⁷ *Сухомлинов М. И. Материалы для истории образования в России в царствование Александра I. СПб, 1866, т. II, с. 25.*
- ⁶⁸ Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 г. СПб, 1862, с. 459.
- ⁶⁹ *Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 68.*
- ⁷⁰ Пушкин. Исследования и материалы Т. VIII. Л., 1978. *Гиллельсон М. И. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г., с. 199.*
- ⁷¹ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 139, л. 50.
- ⁷² Там же, лл. 55 - 56.
- ⁷³ Там же, л. 57.
- ⁷⁴ Там же, лл. 63 - 64.
- ⁷⁵ Там же, л. 65.
- ⁷⁶ Там же, л. 322.
- ⁷⁷ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 148, л. 7.
- ⁷⁸ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 134, л. 9.
- ⁷⁹ Там же, л. 10.
- ⁸⁰ ЦГИА, ф. 733, оп. 91, д. 48, л. 10.
- ⁸¹ ЦГИА, ф. 11, оп. 1, д. 148, л. 10.
- ⁸² Уральский библиофил. Свердловск, 1984, с. 84.

- 53¹ Альманах библиофила. Л., 1929. Ахун М. Декабристы и полковые библиотеки, с. 159.
- 54² РГИА, ф. 733, оп. 91, д. 67, с. 9.
- 55³ РГИА, ф. 733, оп. 91, д. 48, л. 12.
- 56⁴ Никитин А. Г. Секретная рукопись Пушкина. М., 1992, с. 238 - 241.
- 57⁵ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 736, л. 142.
- 58⁶ РГИА, ф. 733, оп. 87, д. 150, л. 1.
- 59⁷ ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 3, д. 108, л. 1.
- 90⁸ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 134, л. 17.
- 91⁹ Там же, л. 20.
- 92¹⁰ Там же, л. 21.
- 93¹¹ Курциц Н. Я. в статье "А. П. Куницын учитель Пушкина и государство-вед" (Советское государство и право, 1978, № 3, с. 106 - 112) ошибочно указывает, что в 1821 - 1826 годах Куницын не состоял на государственной службе.
- 94¹² ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3727, л. 10.
- 95¹³ Там же, л. 12.
- 96¹⁴ РГИА, ф. 733, оп. 118, д. 468, л. 1.
- 97¹⁵ РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 1735.
- 98¹⁶ ОР РНБ, ф. 539, оп. 2, № 621.
- 99¹⁷ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. II, с. 430 - 431.
- 100¹⁸ Лукин М. С. Сочинения и письма. Пг., 1923, с. 43.
- 101¹⁹ Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1988, с. 121.
- 102²⁰ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. II, с. 428.
- 103²¹ И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 51.
- 104²² Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. СПб, 1898. Т. 4, с. 192, 194.
- 105²³ Русские просветители (от Радищева до декабристов). М., 1966. Т. 2, с. 215.
- 106²⁴ Русские просветители. Т. 2, с. 222.
- 107²⁵ Цветаев Л. Первые начала Права естественного. М., 1816, с. 49.
- 108²⁶ Хрестоматия по истории русской журналистики XIX века. М., 1969, с. 17.
- 109²⁷ Очерки из истории движения декабристов. М., 1954, с. 542.
- 110²⁸ Русские просветители... Т. 2, с. 284.
- 111²⁹ Котович Ал. Духовная цензура в России (1799 - 1855 гг.). СПб, 1909, с. 111.
- 112³⁰ Там же, с. 112.
- 113³¹ Русская старина. 1901, № 6, с. 563.
- 114³² Там же, с. 565.
- 115³³ ИРЛИ, ф. 263, оп. 2, № 95, л. 11. Архив Д. П. Рунича.
- 116³⁴ Базанов В. Г. Ученая республика. М. - Л., 1964, с. 19 - 25.
- 117³⁵ Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921, т. 3, вып. 5, с. 370.
- 118³⁶ Скурла Г. Александр Гумбольдт. М., 1985, с. 187.

“ИЗДАНИЕ КОШАНСКОГО”

- ¹ *Никитенко А. В.* Дневники. Т. 1. М., 1955, с. 264.
- ² Полярная Звезда на 1857 год. Лондон, с. 326.
- ³ Там же, с. 332.
- ⁴ *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. М., 1939 - 1953. Т. IV, с. 516.
- ⁵ История издания обеих риторик Н. Ф. Кошанского подробно описана в статье Н. Михайловой “Судьба “Риторик” Н. Ф. Кошанского”. Альманах библиофила, вып. 16. М., 1984, с. 211-224.
- ⁶ *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. I, с. 152.
- ⁷ *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. II, с. 155.
- ⁸ Лицейский журнал. 1910-1911, № IV, с. 21.
- ⁹ *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. II, с. 273.
- ¹⁰ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3714, л. 1, об. 2. Дальнейшие сведения о службе Кошанского даются по этому его последнему послужному списку - лл. 1 - 6.
- ¹¹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3714, л. 6.
- ¹² *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1928. Т. 1, с. 160.
- ¹³ *Алексеев М. П.* Сравнительное литературоведение. Л., 1983, с. 125. Цитируемая статья “Монтескье и Кантемир” впервые опубликована в 1955 году.
- ¹⁴ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3714, лл. 6 - 9.
- ¹⁵ *Клейменова Р. Н.* Издательская деятельность Московского университета в первой четверти XIX века. Автореферат канд. дисс. М., 1979, с. 8 - 9.
- ¹⁶ Рыцари лебеда, или Двор Карла Великого. Сочинение г-жи Жанлис, изданное Кошанским. М., 1807, с. III.
- ¹⁷ *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований. М., 1975, с. 272.
- ¹⁸ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3714, л. 9.
- ¹⁹ Руководство к познанию древностей. Г. Ал. Миленя.. М., 1807. с. 4 нумерованная.
- ²⁰ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3714, л. 6.
- ²¹ Там же, л. 7.
- ²² *Нарышкина Н. А.* Художественная критика пушкинской поры. Л., 1987, с. 27. В этой же книге дан подробный анализ статьи Кошанского “Памятник Пожарскому и Минину, назначенный в Москве”.
- ²³ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3714, л. 8.
- ²⁴ Там же, л. 21.
- ²⁵ Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб, 1902, с. 195.
- ²⁶ *Селезнев И.* Исторический очерк Императорского, бывшего Царско-сельского, ныне Александровского Лицея за первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 г. СПб, 1861, с. 97.

- ²⁷ Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928, т. 1, с. 160.
- ²⁸ Лотман Ю. М. Роман Л. С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. Л., 1983, с. 131.
- ²⁹ Грот К. Я. Пушкинский Лицей (1811 - 1817). Бумаги 1-го курса, собранные академиком Я. К. Гротом. СПб, 1911, с. 42.
- ³⁰ Пуштин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988, с. 45.
- ³¹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3714, л. 41.
- ³² Там же, д. 49а, л. 38.
- ³³ Там же, л. 60.
- ³⁴ Там же, л. 62.
- ³⁵ Там же, л. 220.
- ³⁶ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3714, л. 50.
- ³⁷ Там же, л. 52.
- ³⁸ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 87, л. 10.
- ³⁹ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. XIII, с. 1.
- ⁴⁰ Там же. Т. I, с. 145.
- ⁴¹ РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 183, л. 17.
- ⁴² РГИА, ф. 733, оп. 118, д. 297, л. 1.
- ⁴³ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 49а, л. 60.
- ⁴⁴ РГИА, ф. 733, оп. 102, д. 10, л. 1.
- ⁴⁵ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 87, л. 4.
- ⁴⁶ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 12, л. 1.
- ⁴⁷ Сухомлинов М. И. Материалы для истории просвещения в царствование императора Александра I. СПб, 1866, т. II, с. 40.
- ⁴⁸ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 12, л. 2.
- ⁴⁹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 65, л. 26.
- ⁵⁰ Там же, л. 28.
- ⁵¹ Там же, л. 31.
- ⁵² РГИА, ф. 733, оп. 118, д. 371, л. 1.
- ⁵³ РГИА, ф. 734, оп. 1, л. 92.
- ⁵⁴ РГИА, ф. 735, оп. 11, д. 2. Запись 115 от 6.01.1826 г.
- ⁵⁵ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 65, л. 27.
- ⁵⁶ Там же, д. 60а, л. 39.
- ⁵⁷ Там же, д. 60а, л. 42.
- ⁵⁸ РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 226, л. 11.
- ⁵⁹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 78, л. 75.
- ⁶⁰ Селезнев И. Исторический очерк Императорского, бывшего Царско-сельского, ныне Александровского Лицея. СПб, 1861, с. 100.
- ⁶¹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 65, л. 83.
- ⁶² РГИА, ф. 732, оп. 1, д. 218.
- ⁶³ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 78, л. 65.
- ⁶⁴ Там же, л. 75.
- ⁶⁵ РГИА, ф. 733, оп. 102, д. 20, л. 6.
- ⁶⁶ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 121, л. 2.
- ⁶⁷ Там же, д. 77, л. 108.

- ⁶⁸ РГИА, ф. 733, оп. 102, д. 20, л. 1.
- ⁶⁹ Там же, л. 5.
- ⁷⁰ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3656, л. 54.
- ⁷¹ Там же, д. 93, л. 129.
- ⁷² Ручная книга древней классической словесности: собранная Эшенбургом, умноженная Крамером и дополненная Н. Кошанским. Т. I, СПб, 1816, с. III.
- ⁷³ Ручная книга древней классической словесности... Т. I, СПб, 1816, с. III-IV.
- ⁷⁴ Ручная книга древней классической словесности.. Т. II, СПб, 1817, с. 147.
- ⁷⁵ Ручная книга древней классической словесности... Т. II, СПб, 1817, с. 151.
- ⁷⁶ *Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955. Т. I, с. 128 - 129.
- ⁷⁷ РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 30, л. 2.
- ⁷⁸ Там же, л. 6.
- ⁷⁹ Там же, л. 8.
- ⁸⁰ Там же, л. 9.
- ⁸¹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 121, л. 4.
- ⁸² РГИА, ф. 734, оп. 1, д. 30, л. 14.
- ⁸³ РГИА, ф. 733, оп. 102, д. 72.
- ⁸⁴ *Раскин Д. И.* Документальные источники по изданию и распространению русской книги в первой половине XIX в. Книга в России XVII - начала XIX в. Л., 1989, с. 172.

“ГРАММАТИКИ” ДАВИДА ДЕ БУДРИ

- ¹ См.: *Манфред А. З.* “Жан Поль Марат и его произведения” - вступительная статья к книге “Жан Поль Марат”. Избранные произведения. М., 1956. Т. 1, с. 11. *Волгин В. П.* Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1977, с. 230.
- ² ЦГИА СПб, ф. 11, д. 2475, лл. 1-2. Дальнейшие сведения о службе Д. И. де Будри даются по его послужному списку в этом деле - лл. 1 - 6.
- ³ Федор Яковлевич Миркович. 1789 - 1866. Его жизнеописание, составленное по собственным его запискам, воспоминаниям близких людей и подлинным документам. СПб, 1889, с. 14.
- ⁴ Очерки из истории движения декабристов. М., 1954, с. 540.
- ⁵ Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1980. Л., 1984, с. 140.
- ⁶ *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. XII, М. - Л., 1949, с. 166.
- ⁷ Там же.
- ⁸ РГИА, ф. 733, оп. 118, д. 154, л. 10.
- ⁹ РГИА, ф. 733, оп. 118, д. 154, л. 25.

¹⁰ Грот Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб, 1899, с. 232.

¹¹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 60а, л. 130.

¹² ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 77, л. 4.

¹³ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 77, л. 21. В октябре 1817 года де Будри было заплачено 100 руб. за 25 экз. "Грамматики" (ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 87, л. 102).

¹⁴ Благонамеренный, 1821, ч. IV, N XVII - XVIII, с. 325, сентябрь.

¹⁵ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 117, лл. 73, 102.

¹⁶ РГИА, ф. 734, оп. 1, л. 99 об.

¹⁷ Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984, с. 85.

¹⁸ РГИА, ф. 734, оп. 1, л. 99 об.

¹⁹ РГИА, ф. 374, оп. 1, л. 100.

ПЕРЕВОДЫ ПРОФЕССОРА НЕМЕЦКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ГАУЕНШИЛЬДА

¹ Грот К. Я. Пушкинский Лицей (1811 - 1817). Бумаги I-го курса. СПб, 1911, с. 217 - 218.

² Пуштин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988, с. 278.

³ Цит. по: Косачевская Е. М. М. А. Балугьянский и Петербургский университет первой четверти XIX века. Л., 1971, с. 113.

⁴ Грот К. Я. Пушкинский Лицей (1811 - 1817). Бумаги I-го курса. СПб, 1911, с. 42.

⁵ Дмитриев М. А. Московские элегии. М., 1985, с. 174.

⁶ Грот К. Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб, 1899, с. 231.

⁷ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937 - 1959. Т. VI, 1937, с. 219.

⁸ Голос минувшего. 1914, № 7, с. 197.

⁹ Грот К. Я. Пушкинский Лицей (1811 - 1817). Бумаги I-го курса. СПб, 1911, с. 44.

¹⁰ Кобеко Д. Ф. Императорский Царскосельский Лицей. Наставники и питомцы. 1811 - 1843. СПб, 1911, с. 29 - 36.

¹¹ Русская старина, 1881, № 3, с. 488.

¹² РГИА, ф. 735, оп. 10, д. 49, л. 13.

¹³ Альманах библиофила, вып. 17. М., 1985, с. 105. П. Балмуш, Н. Романенко Собрание Александра Хиждеу.

¹⁴ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 26, л. 98.

¹⁵ Плетнев П. А. Памяти графа Сергея Семеновича Уварова, президента Академии наук. СПб, 1855, с. 14.

¹⁶ Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983, с. 95.

¹⁷ РГИА, ф. 733, оп. 102, д. 73, л. 1.

¹⁸ Там же, л. 4.

- ¹⁹ Там же, лл. 14 - 15.
- ²⁰ ГИМ ОПИ, ф. 347, л. 18, л. 14. Цит. по: *Козлов В. П.* Колумбы российских древностей. М., 1985, с. 44.
- ²¹ Письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому и письма Грибоедова к С. Н. Бегичеву. М., 1860, с. 40.
- ²² *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. М., 1983, с. 140.
- ²³ *Н. М. Карамзин.* Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб, 1866, с. 247.
- ²⁴ Там же, с. 274
- ²⁵ Там же, с. 277 - 278.
- ²⁶ Там же, с. 279.
- ²⁷ Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. СПб, 1897, с. 134.
- ²⁸ РГИА, ф. 733, оп. 87, д. 83, л. 3.
- ²⁹ РГИА, ф. 733, оп. 102, д. 73, л. 32.
- ³⁰ Там же, л. 41.
- ³¹ Там же, л. 41.
- ³² Там же, л. 43.
- ³³ Там же, л. 80.
- ³⁴ *Селезнев И.* Исторический очерк Императорского, бывшего Царско-сельского, ныне Александровского Лицея за первое его пятидесятилетие, с 1811 по 1861 г. СПб, 1861, с. 76.

ПРОФЕССОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК Я. И. КАРЦОВ

- ¹ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3671, л. 1 (формулярный список Я. И. Карцова).
- ² Начальные основания физики, ч. 1. СПб, 1807, с. 9.
- ³ ЦГИА СПб, ф. 13, оп. 1, д. 298, л. 1. В этом деле при упоминании студентов-переводчиков Карцов постоянно называется первым. А фамилия второго переводчика читается "Ефремов", а не "Ефимов", как иногда ее приводят.
- ⁴ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3671, л. 2.
- ⁵ *Селезнев И.* Исторический очерк Императорского, бывшего Царско-сельского, ныне Александровского Лицея за первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 г. СПб, 1861, с. 93 - 94.
- ⁶ Там же, с. 95.
- ⁷ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 3671, л. 19.
- ⁸ *Карамзин Н. М.* Записки о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. СПб, 1914, с. 75 - 76.
- ⁹ *Карамзин Н. М.* Полное собрание стихотворений. М. - Л., 1966, с. 81.
- ¹⁰ Осадная башня штурмующих небо. Л., 1980, с. 212 - 213.
- ¹¹ Более подробно эти вопросы рассматриваются М. П. Алексеевым в статье "Пушкин и наука его времени", опубликованной в его книге "Пушкин. Сравнительно-исторические исследования" (Л., 1984, с. 22 - 173).
- ¹² *Грот К. Я.* Пушкинский Лицей (1811 - 1817). Бумаги 1-го курса, собранные академиком Я. К. Гротом. СПб, 1911, с. 42.

¹³ там же, с. 271.

¹⁴ Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб, 1899, с. 229.

¹⁵ Кобеко Д. Императорский Царскосельский Лицей. Наставники и питомцы. СПб, 1911, с. 107.

¹⁶ Гавсский В. П. Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения. Современник, 1863, № 8, с. 368.

¹⁷ Пуцун И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988, с. 48.

¹⁸ Грот К. Я. Пушкинский Лицей (1811 - 1817). Бумаги I-го курса, собранные академиком Я. К. Гротом. СПб, 1911, с. 230.

¹⁹ Там же, с. 356 - 357.

²⁰ Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984, с. 28 - 32.

²¹ Современник. 1837, т. 7, с. 51 - 52.

²² Современник. 1836, т. 1, с. 264

²³ Френкель В. Я. Петр Борисович Козловский. Л., 1979, с. 76 - 77. При этом отмечается, что часть книг осталась неразрезанной; это, однако, не может служить основанием для отрицания самого факта заинтересованности Пушкина. Неразрезанные и не полностью разрезанные книги имеются в библиотеке Пушкина и по другим отраслям знаний.

²⁴ Насонкина А. И. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972, с. 41 - 52.

²⁵ ЦГИА СПб, ф. 11, оп. 1, д. 65, л. 65.

²⁶ Там же, д. 77, лл. 19 - 20.

²⁷ Там же, л. 25.

²⁸ Там же, д. 78, л. 85.

²⁹ Там же, д. 110, л. 56.

³⁰ Там же, л. 65.

³¹ Там же, д. 3671, л. 19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

¹ Литературное наследство. Т. 58., М., 1952, с. 33.

² Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, 1937-1959. Т. XIII, с. 2-3.

³ Современник, 1863, № 7, с. 131.

⁴ Полевой П. Н. История русской словесности с древнейших времен до наших дней. СПб, 1900. Т. III, с. 5.

⁵ Гроссман Л. Пушкин. М., 1939, с. 149.

⁶ История русского читателя. Сборник научных трудов Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской. № 70, Л., 1982, с. 43.

⁷ Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1897, т. XII, вып. 1, с. 10.

⁸ Лажечников И. И. Полное собрание сочинений. Т. 12, СПб, 1900, с. 235.

⁹ Русский архив. 1883, № 5, с. 84.

- ¹⁰ Герцен А. И. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 8, М., 1956, с. 119-120.
- ¹¹ Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Т. II, М., 1983, с. 7-8.
- ¹² Восстание декабристов. Т. XVIII, М., 1984, с. 164.
- ¹³ Сын Отечества. 1814, № 51, с. 230-231.
- ¹⁴ Сын Отечества. 1822, № 18, с. 168.
- ¹⁵ Селезнев И. Исторический очерк Императорского, бывшего Царско-сельского, ныне Александровского Лицея за первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 г. СПб, 1861, с. 4-5.
- ¹⁶ Памятная книжка Императорского Александровского лицея на 1856-1857 год. СПб, 1856, с. XXVI.
- ¹⁷ Борн Макс. Моя жизнь и взгляды. М., 1973, с. 16.
- ¹⁸ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР 1937-1959. Т. XII, с. 308.
- ¹⁹ Лицейский журнал № 3. Январь 1904 г., с. 40.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГАТО	- Государственный архив Тверской области
ГИМ ОПИ	- Государственный исторический музей, отдел письменных источников
ИРЛИ	- Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
ОР РНБ	- Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РГИА	- Российский государственный исторический архив
ЦГИА СПб	- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Фамилии А. С. Пушкина и профессоров Лицея, упоминаемые в главах, посвященных им, в указателе не включены.

- Аделунг Ф. П. 122
Александр I, русский император 12, 14, 19, 27 - 29, 36 - 37, 39, 40, 42, 46, 57 - 58, 62, 67 - 68, 70, 77, 81 - 82, 87 - 89, 93, 97, 101, 104, 110, 114, 116, 124, 129, 132 - 133, 135, 147, 153, 168, 170
Александр II, русский император 149
Александра Федоровна, императрица, жена Николая I 132
Алексеев М. П. 78, 169, 174
Анакреон 17
Анастасевич В. Г. 38
Анненков П. В. 7, 15, 152, 158, 164
Аракчеев А. А. 42, 50, 56, 127
Аристарх 74, 75, 88
Аристид 99
Арсеньев К. И. 101
Аспазия 5
Астье, автор учебника стенографии 151
Афанасьев К. Я. 132
Ахун М. И. 56, 168
Бабеф Г. (Ф.-Н.) 80
Базанов В. Г. 168
Байков И., царский кучер 127
Балмуш П. Т. 172
Балугьянский М. А. 43 - 44, 46, 52, 61, 63, 167
Батеньков Г. С. 101
Батюшков К. Н. 111
Бегичев С. Н. 173
Безбородко А. А. 39, 155
Белинский В. Г. 18, 23, 73, 165
Беляев А. П. 124
Бенедиктов В. Г. 73
Бенкендорф А. Х. 16, 22, 124
Бестужев А. А. 158
Бестужев Н. А. 50, 101 - 102
Билевич М. В. 154
Бируков А. С. 39
Бисмарк О. Э. Л., фон 27
Бланшард, французский беллетрист 79

- Бобров А. П. 120
Бок, историк греческой литературы 155
Болингброк (Г. Сент-Джон) 19, 165
Борисов П. И. 17
Борн М. 161, 175
Бредер Х. Г. 82, 93, 95
Брут М. Ю. 17, 20 - 21
Брюллов К. П. 20
Будри Д. И., де (Марат) 3, 52, 74, 82, 84, 119, 121, 138
Буле И. Ф. 66, 81
Буонаротти Ф. М. 80
Бурцов И. Г. 36
Буслаев Ф. И. 98
Буш, садовый мастер 147
Бюффон Ж.-Л. А. 144
- Вальховский В. Д. 142 - 143, 162
Варнек А. Г. 132
Васильчиков И. В. 65
Вергилий М. П. 99 - 100
Веселовский К. С. 22
Вигель Ф. Ф. 77, 84, 169, 170
Виланд К. М. 122
Винкельман И. И. 96 - 97
Виноградов Д. Н. 122
Волгин В. П. 171
Волегов В. А. 32
Волконский П. М. 65
Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 22, 131
Воронцов М. С. 140
Врангель Е. Г. 61
Вульф А. Н. 161
Вяземский П. А. 49, 59, 89, 117, 150 - 151, 172 - 173
- Гаевский В. П. 151, 174
Галич А. И. 15, 85 - 87, 90, 94, 98, 152 - 153
Ганнибал 99
Ганнибал А. П. 24
Гарибальди, Д. 22
Гарий Е., московский типограф 72
Гартман К. И. Г. 131, 134
Гауеншильд Ф. М. (Ф.-Л.-А.) 3, 55, 74, 84, 91, 92, 94, 158
Гаусс К. Ф. 161
Гегель К. Ф. 7

Гейм И. А. 78
Гейне Г. 122
Георгиевский П. Е. 76, 87, 92, 94, 99, 101
Гердер И. Г. 122
Ге<e>рен А. Г. 10, 131
Геродот 19
Герцен А. И. 18, 155, 175
Гете И.-В. 4, 122, 131
Гиллельсон М. И. 167
Гиршфельд И. Б. 134
Гладстон В.-Ю. 22
Глазунов И. П. 36, 52 - 53, 57
Глазунов М. П. 52
Глазунов П. 52
Глинка Ф. Н. 36, 101
Гнедич Н. И. 78
Гоголь Н. В. 18, 23, 96, 154
Годунов Б. Ф., царь 17, 24
Голицын А. Н. 33, 35, 40 - 43, 45, 48 - 49, 50 - 51, 53 - 54, 56 - 57, 60 - 61, 67, 68 - 71, 87, 90, 95, 99, 101, 105 - 107, 119, 129, 131 - 135, 147, 160
Голицын Н. С. 119
Головин В. В. 153
Головин Е. А. 124
Гольдшмидт, историк 10
Гомер 8
Гончаров Н. А. 110
Гораций Ф. К. 76, 99
Горчаков А. М. 8, 22, 162
Гофман Э. Т. А. 122
Гракх Г. 21
Грак Т. 21
Греч Н. И. 101, 158
Грибоедов А. С. 168, 173
Григорович В. И. 82, 101
Гросман Л. П. 152, 175
Грот К. Я. 164, 166, 170, 172
Грот Я. К. 164, 165, 166, 170, 172, 173
Гумбольдт А. Ф.-Г., фон 71, 127, 169, 173
Гурьев Д. А. 127
Гурьев К. В. 8
Гуфеланд Г. 9, 33

- Давыдов И. И. 49, 101
Данзас К. К. 143
Дельвиг А. А. 4, 8, 32, 76, 89, 101, 143, 162
Державин Г. Р. 12, 28
Дмитриев И. И. 130 - 131, 173
Дмитриев М. А. 121, 172
Докудовский В. А. 153
Достоевский Ф. М. 18, 161
Дубельт А. В. 47 - 48
Дэви Г. 137
- Евгений (Е. А. Болховитинов), митрополит 38
Екатерина II, русская императрица 24, 41, 59, 110, 112, 131, 153
Елизавета Алексеевна, русская императрица, жена Александра I 132
Емельянов Б. 56
Ерошкин Н. П. 48, 167
Есаков С. С. 143
Ефремов, студент Педагогического института 136, 173
- Жаңлис Ф. Д. 79, 169
Жуковский В. А. 15, 78, 150 - 151
- Зарадовский П. В. 41, 80, 84
Занд К. А. 130
Зоил 75
Зон, цензор 113, 115
- Измайлов А. Е. 85
Илличевский А. Д. 8, 14, 31, 85, 87, 119, 122, 141, 143
Иоаннесов Иосиф (Ованисян Овсеп) 35, 116, 166
Иовский А. А. 146
Иннокентий (Смирнов), архимандрит 104 - 106
- Кайданов В. И. 23
Кайданов И. К. 3 - 4, 33 - 34, 52, 76, 84, 91, 94, 97 - 98, 101, 103, 107, 110, 112, 119 - 120, 127, 138, 150, 152, 158, 162, 164, 165
Кайданов Н. И. 23
Калигула Г. Ц. Германик 21
Калинич Ф. П. 157
Кант И. 9, 33
Кантемир А. 169
Калодистриа И. А. 42
Караджич В. С. 124
Карамзин Н. М. 14, 17, 46, 60, 64, 78, 128, 130 - 134, 140, 158, 173, 174

Карл Великий, король франков 79, 169
Карл IX, король Франции 5
Карцов Я. И. 3, 7, 9, 84, 112, 120, 152
Квинт (Квинтилиен) М. Ф. 99
Кирпичев, майор 57
Клейменова Р. Н. 79, 169
Клейн Э. Ф. 9, 33
Клеопатра 20
Клопшток Ф. Г. 122
Кобеко Д. Ф. 122, 127, 142, 164, 166, 172, 173
Козлов В. П. 173
Козловский П. Б. 144 - 145
Колошин П. И. 156
Константин Павлович, великий князь 70, 110
Коновницын П. П. 57
Копысский П. 63
Корнилович А. О. 16
Корф М. А. 8, 22, 27, 30, 33, 76, 85, 87, 114, 119, 121, 141- 142, 151, 152, 162
Косачевская Е. М. 32, 44, 166, 167
Костенский К. Д. 143
Котович А. Н. 68, 168
Коцебу А. Ф. 130
Кочубей В. П. 42, 127
Кошанский В. Ф. 79
Кошанский К. Ф. 79
Кошанский Н. Ф. 3, 7, 28, 52, 111, 119, 125 - 126, 152, 156, 158, 169, 171
Крамер К. Ф. 102, 171
Крюков Н. А. 64
Кукольник В. Г. 137
Кулжинский И. Г. 154
Кун, лемберский (львовский) книгопродавец 125
Куницын А. П. 3 - 4, 7, 9, 15, 23, 76, 84, 91, 94, 97, 98, 103, 107, 112, 115, 119 - 120, 126, 138, 149, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168
Куницыны - семья А. П. Куницына и его родственники
 Александра, сестра 26
 Иван, брат 26
 Лаврентьев Петр, отец 25 - 26
 Мавра Васильевна, мать 25
 Матвей, брат 26
 Петров Андрей, двоюродный дед 25
 Петров Дмитрий, троюродный дед 26
Куприц Н. Я. 168

- Курмачева М. Д. 167
Кутузов М. И. 123
Кювье Ж.-Л. 144
Кюхельбекер В. К. 4, 8, 49, 89, 101, 111, 130, 162
Кюхельбекер М. К. 101
- Лабзин А. Ф. 127
Лаваль И. С. 39 - 40, 42 - 43, 46, 54, 59 - 60
Лагарп Ф. Ц. 110
Лагранж Ж.-Л., де 139
Лажечников И. И. 153 - 154, 175
Ламбин В. П. 73
Ланда С. С. 80, 169
Лаплас П.-С., де 145
Лаудон, австрийский генерал 123
Лебедев В. Я. 146
Лермонтов М. Ю. 23, 155
Лессинг Г. Э. 122
Лжедмитрий I (Расстрига) 17
Ливий Т. 99
Линкольн А. 22
Лициний 17
Лодер Ю.-Х. (Х. И.) 145
Лодий П. П. 43
Ломонд, теолог, историк 105, 106
Ломоносов М. В. 17, 122
Лоренц, математик 9
Лотман Ю. М. 84, 170
Лукулл Понтийский 48
Лунин М. С. 64, 168
Любий Федор, типограф 72
Людовик XIV, король Франции 144
- Магницкий М. А. 37, 40 - 41, 43, 46, 48 - 50, 54, 59, 61, 69, 103, 107
Майков А. Н. 72, 169
Маймин Е. А. 153
Малеин А. И. 72 - 73, 78, 81
Малиновский А. Ф. 130, 173
Малиновский В. Ф. 3, 10 - 11, 14, 27 - 29, 33, 84, 119, 125 - 126, 152
Мальгин С. Т. 157
Манкерт, историк 10
Манфред А. З. 171
Марат Ж.-П. 39, 109, 112, 171
Маршалль С. 79 - 80

Мария Федоровна, русская императрица, жена Павла I 110, 112, 114, 131
 Маркс К. 20, 22
 Мартынов К. И. 27 - 28, 43, 87
 Маслов Д. Н. 8
 Матюшкин Ф. Ф. 119, 143, 162
 Мейлах Б. С. 53, 165, 167
 Мейнерс, историк 10
 Меликовский, лембергский (львовский) книгопродавец 125
 Мерзляков А. Ф. 88, 156
 Мериме П. 5
 Мертенс, переплетчик 13
 Местр Ж., де 50
 Метгерних К. В. Р. 70, 124
 Милень Г. А. 80, 169
 Миллер Г. Ф. (Ф. И.) 17, 122
 Милло<т> историк 23
 Мильтиад 99
 Минин К. З. 169
 Миркович Ф. Я. 111, 171
 Михаил Павлович, великий князь 16
 Михайлова Н. И. 169
 Мицкевич А. 152
 Модзалевский Б. Л. 73
 Монтескье Ш.-Л. (Секонда, де) 21, 33, 169
 Морвинов Н. С. 47
 Муравьев А. М. 36, 77
 Муравьев М. Н. 77 - 82, 94, 96 - 98, 102, 146
 Муравьев Н. М. 77

 Наполеон I 21, 123 - 124
 Нарезный В. Т. 63
 Нарышкина Н. А. 169
 Насонкина Л. И. 174
 Некрасов Н. А. 18, 23, 49
 Нелединский-Мелецкий А. Ю. 25 - 26
 Непот К. 17, 90, 92, 97 - 101
 Нерон К. Ц., Д. Г. 21
 Нефертити 20
 Никитенко А. В. 50, 73, 103, 169, 171
 Никитин А. Г. 32, 62 - 63, 166, 168
 Николай I, русский император 16 - 17, 21, 47, 49 - 50, 59, 64, 70, 124, 132, 149
 Никольский П. И. 154

- Новиков Н. И. 41
 Новосильцов Н. Н. 137
- Оболенский А. П. 43
 Оболенский Е. П. 36
 Овидий П. О. Н. 99
 Огарев Н. П. 73
 Одоевский В. Ф. 63
 Озерецковский Н. Я. 114
 Оленин А. Н. 127
 Ольдекоп Е. И. 135
- Павел I, русский император 110
 Паскаль Б. 145
 Пекарский П. П. 165
 Перикл 5, 17
 Пестель П. И. 36
 Петр I, русский император 17, 24, 144
 Петр Георгиевич, принц Ольденбургский 149
 Петров В. В., физик 137, 145
 Пилецкий-Урбанович М. С. 120
 Плавт Т. М. 99
 Плетнев П. А. 32, 127, 166, 172
 Плутарх 8, 17
 Поджио А. В. 36
 Пожарский Д. М. 169
 Полевой П. Н. 175
 Попов И., московский типограф 72
 Прад Ж. М., де, аббат, Франция 60
 Прудон П.-Ж. 22
 Погодин М. П. 124
 Полевой П. Н. 152
 Пугачев Е. И. 21, 24
 Пуцин И. И. 8, 15, 27, 31, 75, 89, 118, 143, 162, 164, 165, 166, 172, 174
 Пуцин П. И. 7
- Радищев А. Н. 40, 122, 168
 Раевский В. Ф. 50
 Разумовский А. К. 6, 10 - 12, 28 - 30, 33, 41, 65, 82 - 83, 85 - 87, 89 - 91, 93 - 94, 96 - 97, 100, 123, 125 - 126, 146, 160
 Раскин Д. И. 171
 Ржевский Н. Г. 143
 Ривкин З. И. 153
 Романенко Н. Н. 172

Роспини, петербургский механик 146
Руденская М. П. 153
Руденская С. Д. 153
Румянцев Н. П. 128, 130
Рунич Д. П. 36 - 46, 49, 54, 67, 69, 103, 116 - 117, 167
Руссо Ж.-Ж. 21 - 22, 39, 140, 159
Руссов С. В. 156 - 157
Рюрик 63, 79

Саврасов П. Ф. 143
Сайтов В. И. 72
Салтыков В. П. 109 - 110
Салтыков Н. И. 110
Салтыков-Щедрин М. Е. 23
Селезнев И. И. 97, 135, 164, 166, 169, 170, 173, 175
Сенека Младший Л. А. 99
Симон Р. 19
Сипягин Н. М. 68
Скабичевский А. М. 51
Скурла Г. 169
Сленин И. В. 52 - 53, 57, 128, 132
Смирдин А. Ф. 59
Смит А. 9, 32
Сопиков В. С. 103
Спартак 20, 21
Сперанский М. М. 42, 44, 50, 61, 63 - 64, 84, 123 - 125, 139, 163
Сталь А. Ж., де 121
Станевич Е. И. 68
Страхов П. И. 78, 83
Строганова С. В. 62
Стурдза А. С. 42 - 46, 70 - 71, 92 - 93, 95
Суворов А. В. 123
Сутгоф А. Н. 50
Сулакадзев А. И. 157
Сухомлинов М. И. 167, 170

Тарасов Е. И. 122
Тацит П. К. 21, 99
Теккерей У. М. 73
Теренций А. П. 99
Тимковский И. О. 11, 28, 35, 88, 97
Толмачев Я. В. 156 - 157
Толстой А. К. 18
Толстой Л. Н. 123

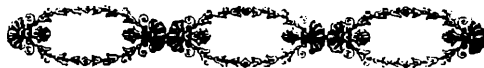
- Толстой Ф. П. 67, 101, 111
Томашевский Б. В. 166
Тургенев А. И. 40, 46 - 47, 49, 60, 95, 128, 131, 132, 144, 167, 169
Тургенев И. С. 18, 24, 155, 175
Тургенев Н. И. 17, 36, 39, 61, 70, 156, 165, 169
Тырков А. Д. 8
- Уваров С. С. 36, 48 - 49, 51, 53, 60, 73, 84 85, 123, 126 - 129, 131, 155, 172
Уткин Н. И., гравер 132
- Федр 86, 88 - 92, 97 - 98, 101
Фейербах Л. 22
Фемистокл 99
Фикельмон Ш. А., К. А. 123
Филарет (В. М. Дроздов), митрополит 43
Финке И. X. 59
Филипсон Г. И. 154
Фонвизин Д. И. 47, 167
Фотий (П. Н. Спасский), архимандрит 104
Франклин В. 145
Фредерикс П. А. 156
Фридрих-Вильгельм III, прусский король 132
Френкель В. Я. 144, 174
Фролов С. С. 119
Фукидид 5
Фусс Н. И. 9, 36 - 38, 43 - 44, 46, 62, 69, 85, 114
Фусс П. Н. 85, 119, 121, 122
- Херасков М. М. 102
Хиждеу А. Ф. 172
- Цезарь Г. Ю. 21, 22
Цветаев Л. А. 66, 156, 168
Цицерон М. Т. Ц. 99
Цумпт К.-Г. 155
Цыпина Н. Е. 56
- Чаадаев П. Я. 17, 22, 76
Чачков В. В. 120
Чеботарев А. X. 79
Чернышевский Н. Г. 22, 73, 169
Честерфилд Ф.-Д.-С. 16, 165
Чумаков Ф. И. 156

Шампольон Ж. Ф. 20
Шиллер И. Ф. 122
Шильдер Н. К. 168
Шишков А. С. 124, 135, 157
Шлецер А. Л., фон 122, 130
Шлецер Х. А., фон 78, 130
Шлиман Г. 20
Шмальц Т. А. Г. 9, 33, 66
Шрадер Г. 136, 137, 149
Штейнгель В. И. 41
Шторх А. К. 10, 11, 122
Штриттер И. Г. 122
Шувалов И. И. 102
Шульц, автор руководства по психологии 9, 32

Эйдельман Н. Я. 173
Эйнштейн А. 161
Эльснер Ф. Б. (Ф. Г.) 3, 148
Энгельгардт Е. А. 3, 15, 30, 33 - 34, 36, 44 - 45, 54, 55, 60, 61, 67, 83,
99, 100, 106, 107, 110, 116, 119 - 120, 126, 135, 147, 152
Эшенбург И. И. 102, 171

Юдин П. М. 143

Якоб<и> Ф. Г. 9, 32
Якушкин И. Д. 65, 168
Яценко Г. М. 35, 63, 67



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Учебники и ученики профессора Кайданова	5
Книги профессора Куницына	25
“Издание Кошанского”	72
“Граматики” Давида де Будри	109
Переводы профессора немецкой словесности Гауеншильда	118
Профессор физико-математических наук Я. И. Карцов ...	136
Заключение	150
Примечания	164
Принятые сокращения	175
Именной указатель	176

ЛИЦЕЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ ПУШКИНА И ИХ КНИГИ.
М.: А. Лисбавин — СПб, "Сударыня", 1997, 188 с.
ISBN 5-87499-021-6

На базе неопубликованных ранее архивных материалов книга рассказывает о жизни, издательской и авторской деятельности лицейских учителей Пушкина.

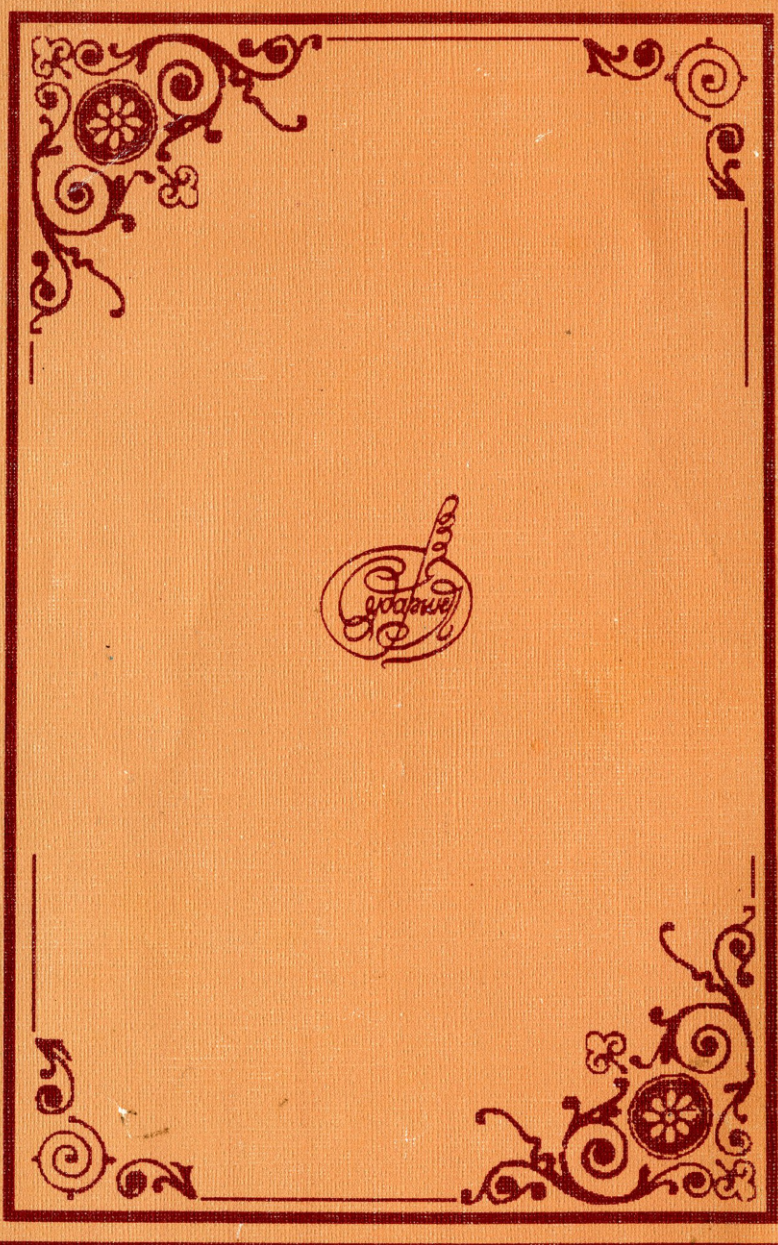
ББК 84. Р1

Директор издательства *М. Тоскина*
Технический редактор *В. Никсенкова*
Младший редактор *Е. Распопова*
Компьютерный набор *И. Фолмичева*
Корректор *Т. Гуренкова*
Производственное обеспечение
М. Соколев, В. Сараева, В. Малышева
Печать *А. Алешин*



Издательство "Сударыня"
196128, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149В, к. 320
Тел. 298-93-41
Формат 60x84/16. Печать офсетная. Гарнитура "Мысль".
Печ. л. 11.75.

40



2115

2115

2115

2115